

# МАРИЯ МАГДАЛИНА

ГУСТАВ  
ДАНИЛОВСКИЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ  
РОМАН



Густав Даниловский  
**Мария Магдалина**

«Седьмая книга»

1912

## **Даниловский Г.**

Мария Магдалина / Г. Даниловский — «Седьмая книга», 1912

История Магдалины в чувственном и откровенном историческом романе Густава Даниловского – в высшей степени красочное, увлекательное и трогательное повествование о возвышенной и очищающей любви. Как получилось, что Иисус Христос предпочел бывшую блудницу? Странное пристрастие Спасителя к Марии Магдалине заставило многих ученых, исследовавших Библию и искавших доказательства произошедших в ней событий в истории, внимательнее присмотреться к Магдалине.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая                      | 6  |
| Глава вторая                      | 19 |
| Глава третья                      | 27 |
| Глава четвертая                   | 35 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 39 |

# Густав Даниловский

## Мария Магдалина

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Глава первая

Среди унылых, бесплодных, как бы спаленных пожаром окрестностей Иерусалима прикрывающая его с востока гора Элеонская с долиною Кедрона представляла отрадное исключение.

Пологий скат глубокого ущелья, прилегавший непосредственно к городской стене, был еще весь замусорен отбросами и полон долетавшего туда визгливого гомона и сутолоки кипящего жизнью города; но на другом берегу бороздившего дно ущелья потока – который прозвали Зимним, потому что в летнюю засуху он сочился лишь едва заметным ручьем, – расстился ковер зеленой травы, а в нескольких стадиях от него манил око тенистый сад, именуемый Гефсиманским.

Еще дальше возвышалась окутанная дымкой колеблющейся в воздухе голубоватой пыли высокая Элеонская гора, одетая свежей веселой зеленью. Окруженные кущами деревьев, ярко блестели на солнце небольшие домики и усадьбы, размерами не отличавшиеся от желтоватых каменных глыб, обнажавшихся на срезах обрывов и откосах круглых дорог. По более отлогим склонам стлались виноградники и плантации смоковниц, над зеленой листвой которых вырисовывались контуры стройных пиний и одиноко стоящих остроконечных кипарисов.

Белые тропинки, точно сеть переплетенных ленточек, извивались по всему склону. Вверху трепетали крыльями нежные горлицы и кружились целыми стаями голуби, которые быстро скрывались под густую сень красовавшегося на вершине могучего кедра, чуть только солнечный свет заслонит желто-бурая тень хищника.

Среди волнующихся, точно от непрекращающегося ветерка, трав и хлебов благоухали белые и голубые цветы иссопа, мяты, чабра, шафрана, раскрывали свои пурпурные чаши лотосы, на лугах массами рдел конский щавель, желтела высокая рута и распускались нежные, телесного цвета розы Сарона.

Западный скат, где меньше жгло солнце, был одет еще более пышной растительностью и еще более манил своей прелестью; там-то находилась слывшая одним из самых живописных уголков Палестины Вифания.

С высоты ее расстился широкий вид на извилистые берега Иордана, на синеватые скалы далекой Переи, на суровую пустынную Мертвого моря и на маячившие вдали цепи гор Моавитских.

Само селение, окруженное кольцом из буков и платанов, состояло из полутора десятка скромных хижин, между которыми выделялось стоявшее в стороне здание, сложенное из тесаного камня, с деревянной галереей на высоте второго этажа, подпираемое, по обычаю богатых людей, семью резными колоннами из кедрового дерева.

Двор вместе с садом был обведен стеной из дикого камня, через которую густо свешивались выющиеся розы, плющ и другие ползучие растения. По внешнему виду, как самого дома, так и всей усадьбы можно было судить о достатке и заботливости хозяев: стоявший посреди двора водоем был покрыт плитами тесаного камня, дорожки усыпаны, песком, а шерсть пасущегося на лужайке мышастого ослика лоснилась как бархат.

Небольшой, но заботливо содержимый сад состоял преимущественно из маслин, смоковниц, тутовых деревьев, скромного цветника и небольшого виноградника. Но настоящим его украшением был довольно редкий в этих краях теревинтовый орех и огромная тенистая магнолия.

Это владение принадлежало Симону по прозвищу «Прокаженный», но сейчас его занимал Лазарь, прибывший с двумя сестрами с берегов Генисаретского озера, из небольшого городка Магдала.

Лазарю было очень тяжело покинуть благодатную Галилею, но неприятности со стороны жены и ее родных, от которых его не избавило даже разводное письмо, стали настолько невыносимы, что он последовал стиху: «Лучше жить в бесплодной пустыне, чем с женщиной злой и сварливой», и из чудесного, богатого родниками края перебрался в безводную Иудею и поселился на Элеонской горе, хоть отчасти напоминавшей свежесть и плодородие родных мест.

Это был необычайно энергичный шаг со стороны человека, который был от природы флегматиком, нелюдимым и неспособным к практической жизни аскетом, мысли которого вечно блуждали в туманных высях неосознанных явно мечтаний, в далеких, нездешних мирах, в какой-то смутной тоске по минувшим временам непосредственного общения с предвечным, временам блестящих царей и пламенных пророков избранного народа.

Худой, чахоточный, подверженный частым и глубоким обморокам, Лазарь лишь формально считался главою дома; в действительности же бразды правления держала в своих руках расторопная и хозяйственная Марфа, которая вставала чуть свет и, крепко подпоясав бедра, до вечерней звезды энергично размахивала руками, не жалея при этом и голоса, который раздавался по всей усадьбе, давая знать прислуге, что хозяйка находится неподалеку.

В этой работе, которой она всегда отдавалась до самозабвения, Марфа находила исход быющим ключом силам своей натуры и облегчение в тяжелой заботе о больном брате и в суевверном страхе, внушаемом ей безумной жизнью младшей сестры Марии.

Недаром матери Марии, когда она носила ее, приснилось перед родами, что она родит ветер вкупе с огнем. Дочь с самых юных лет стала оправдывать этот вещий сон.

Живая как огонь, впечатлительная, необычайно самостоятельная и миловидная, она в детстве была звонкой радостью и ярким светом для окружающих. Но по мере того как начали распускаться бутоны ее груди, ей становилось тесно дома, душно и неуютно на узкой циновке девичьей спальни – что-то неудержимо тянуло ее на луга, на воды, холмы, в рощи, на вольный простор, где она предавалась с пастухами сначала шаловливым играм, бегая с ними взапуски по веселым лужайкам и предательским обрывам, потом сорванным исподтишка поцелуям, мимолетным ласкам, от которых расцветала ее красота и загоралась огнем кровь.

Еще не успел оформиться ее девичий стан, когда она успела приобрести славу бесстыдной ветреницы, а вскоре стали шепотом поговаривать о нарушенной ею девичьей невинности, причем снова воскресла сплетня, оскорблявшая память недавно умершей матери, будто проезжавший несколько лет тому назад через Магдалу красавец купец-грек не зря щедро одарил, уезжая, всю семью Лазаря и оставил ценную камеею с магической надписью и целый кусок узорчатой материи для ожидаемого потомка, которым явилась Мария.

Действительно, своим тонким, правильным носиком и крошечными розовыми раковинами ушей Мария отличалась от общего типа своих единоплеменников, а пышными золотисто-рыжими кудрями – от типа семьи, все члены которой были брюнеты. Только темно-синие, суженные в минуты покоя, точно сонные, влажные глаза и какая-то чарующая томность движений, свойственная славившимся красотой галилейским женщинам, напоминали мать.

Несмотря на дурную славу, Мария пользовалась всеобщей любовью. Стройная, белая, точно обмытая в молоке, розовеющая, как утренняя заря, в минуты волнения с алыми раскрытыми, как треснувший плод граната, губами, она буквально поражала своей неотразимой красотой, разоружала обаянием играющей, как перламутр, улыбки, очаровывала длинными ресницами и томным взглядом всех, даже самых строгих, а живым огненным темпераментом умела так властно покорять себе простолюдинов-односельчан, что те прощали ей ее легкое поведение, отвечая на язвительные замечания злых языков:

– Кто ж может носить огонь за пазухой и не обжечься о него!

Это расположение к ней людей влияло на Марию умиротворяюще, и она стала обращать много внимания на внешнюю видимость своего поведения, так что все обвинения были

основаны только на догадках, а когда вопреки ожиданиям она не забеременела, клеветники умолкли, хотя в действительности они были правы и ошибались только относительно личности соблазнителя, которым был не смуглый и стройный, как тростник, молодой рыбак Сауд, а плечистый, некрасивый, косматый Иуда из Кариот, оборванец-бродяга, скитавшийся по всей Палестине, доходивший до берегов обоих морей, побывавший над Нилом, ходивший в Александрию и даже проводивший некоторое время в далеком, таинственном Риме, грозной твердыне железных легионов Цезаря.

Речистый пронира, носивший в своей большой рыжей голове хаос недюжинных мыслей, а под заплатанным плащом – скорпионов могучих вожелений и честолюбивых планов, сильный, не знающий преград своей воле, – он сумел воспламенить воображение экзальтированной девушки, овладеть ее мыслями, сбить ее с толку хитроумными софизмами и настолько раздражить ее юную кровь, что, улучив удобную минуту, преодолел остаток сопротивления, изнасиловал ее и долго держал под гипнозом своей власти. В конце концов, опасаясь последствий, он исчез с горизонта так же неожиданно, как явился.

После этого события Мария как-то притихла, впала в какой-то полусон, в какое-то недоуменное остоленение, и хотя она привязалась к Иуде не столько сердцем, сколько разбуженной страстью, однако душу ее окутала грусть, сердце снедала горечь обмана.

Это состояние длилось довольно долго, но не успела зажить жестокая рана сердца, как всколыхнутая страсть вспыхнула опять с неудержимой силой. Широко открытая уже перед ней пучина чувственных наслаждений поглотила ее всю с головой, и, переехав в Иудею, Мария предалась жизни широкой и свободной и вскоре приобрела в Иерусалиме широкую известность... и спрос.

Веселые пирушки, разнузданные оргии, доходящий до полного безумия совершенно открытый разврат сходил ей безнаказанно, так как у нее были могущественные покровители, в числе прочих – племянник Гамалиеля, который, будучи знаменитейшим в то время ученым, имел сильное влияние на единоверцев и большие связи при дворе.

Бедная Марфа, видя, как ее сестра готова пить из каждого встречного источника, каждой стреле Амура готова подставить свое сердце, как она перенимает чужие обычаи, пренебрегает предписаниями закона, клянется Афродитой, хранит у себя какие-то причудливые языческие статуэтки, решила в своем беспредельном отчаянии, что ее, несомненно, опутал Асмодей, злой дух дурных страстей, похотливый бес, подстерегающий под лозами у колодцев, прудов и ручьев юных девушек, идущих за водой с подоткнутым подолом, чтобы разжечь в них страсть и сделать их податливыми мужской силе и косматым голеним.

Желая спасти сестру, она решила раздобыть корень Баарас, действующий лучше всего в таких случаях, что представляло, однако, нелегкую задачу и требовало больших расходов. Торговец голубями, Меир, к которому она обратилась, рассказывал ей чудеса об этом зелье.

– Этот корень, – говорил он, – встречается только в окрестностях Мертвого моря, в одном ущелье; он имеет цвет огня, а ночью светится, как гнилое дерево. Разыскать его легко, но вырвать из земли трудно, потому что он выскальзывает из рук, и, чтоб его вытащить, нужно sprysнуть его обильно месячной кровью; брать его нужно сыпуду, вытаскивать вертикально, потому что в противном случае он сулит неминуемую смерть.

Несмотря на столько опасностей, за пятьдесят сиклей Меир взялся раздобыть его и доставить ей, так как он знал другой хитроумный способ.

Он взял с собою в эту таинственную экспедицию собаку, бечевку и лопату.

Узнав растение по его мерцающему блеску, он обкопал его кругом, сделал из бечевки петлю, затянул ее вокруг корня, к другому концу привязал собаку и пустился бежать. Собака бросилась за хозяином и приняла в себя злую силу, а Баарас, лишенный этого смертоносного свойства, которое присуще ему только один раз, попал в мешок хитроумного иудея.



Марфа, в восторге от своего счастья, не только уплатила Меиру обещанную сумму, но, тронутая его рассказами об опасностях, каким он подвергался, прибавила еще пузырек оливкового масла, и когда он убедил ее, что, судя по яркой окраске, это совсем свежий корень из всех корней, она всыпала ему в мешок четверть гомера муки и полтора десятка яиц. Потом она тайком положила зелье под постель Марии, потому что Баарас должен был действовать лишь на близком расстоянии. Когда, однако, Мария, проспав над ним две ночи подряд, на третью отправилась в обществе присланных за нею флейтистов на пирушку в один из ночных кабачков Иерусалима, где собиралась самая веселая молодежь, и вернулась лишь на рассвете в помятом и залитом вином платье, с обязательно распушенными волосами, вся розовая, дышащая зноем и так разыгравшись, что еще с галереи прощалась заливающимся смехом и воздушными поцелуями с собравшейся за стеной ватагой, выкрикивавшей в честь ее вакхические возгласы, размахивавшей фонарями и прибавившей к воротам венки из цветов, у Марфы опустились руки. Она побежала с укоризной к Меиру, который посоветовал ей тогда сделать отвар из Баараса и дать выпить Магдалине. Марфа, заправив снадобье, дала его сестре в кушанье и чуть не отравила ее. Мария тяжело расхворалась, но как только она выздоровела, Асмодей начал опять свои проказы. Меир же в ответ на повторные попреки заявил, что, вероятно, демон успел уже проникнуть в почки, а когда он так глубоко засел, так помочь может только чудо, и что к тому же, как все говорят, Мария одержима не одним, а семью бесами.

Удрученная Марфа пыталась примириться с судьбой, но ей это удавалось с большим трудом, потому что она чувствовала, что образ жизни сестры не только нарушает достоинство семьи, но как будто подкапывает устои, и ее собственной добродетели.

Доносившийся от Магдалины чад веселых оргий, аромат чувственных наслаждений временами как будто опьянял и ее, возбуждал греховное любопытство и мучил по ночам наваждением нескромных желаний.

Она пробовала поделиться своим горем с Лазарем, прибегала к влиянию сурового Симона. Но Лазарь держался правила, что лучше немного покоя, чем полные руки работы и забот, и не хотел ни во что вмешиваться; Симон же дал двусмысленный ответ:

– Душа тела – это кровь: пока она бурлит, она горит похотливостью, а щедрый, Марфа, – прибавил он подумав, – дает, а не скупится...

Что хотел выразить этим старик, Марфа не могла понять как следует. Но последнее замечание смутило ее и обидело вместе с тем. Ей показалось, будто Симон отнесся к ней, точно к обиженной природой, ее добродетель не считал заслугой, а доказательством убожества.

Задетая за живое, она начала рассматривать себя в металлическом зеркале и увидела красивые формы, влажные глаза, черные, отливавшие синевой локоны волос и белоснежные зубы за несомкнутыми, чуть-чуть слишком полными, но налитыми пурпуром губами, покрытыми сверху очаровательным пушком. Лицо ее было немного слишком смугло, и, как брюнетка, она была слишком черна в местах складок своего тела, но она удивилась сама себе, увидев в купальне свои белые и гладкие, как слонобая кость, бедра, измерила ширину своей округлой, плотно обхватываемой поясом талии, попробовала тяжесть ниспадавших на нее полных, упругих грудей – и вздрогнула непонятным стыдливым трепетом, почуяв скрытую в себе мощь.

«Ошибаешься, старик», – подумала она, вспоминая, как, бывало, когда она выходила с кувшином на плече к колодцу в Магдале, не было юноши, который бы не натаскал ей воды, а встретив одну, не попробовал бы с ней побороться, обхватить за талию, и хотя она выходила победительницей из этих столкновений, однако бегала домой с непонятной истомой в ногах, проводила вечер в лихорадке, а ночь в огне.

– Высокую цену имеет трудная добродетель, она стоит больше, чем легкая, щедрая распушенность! – Она думала высказать это мнение Симону, но однажды, в порыве горячности, выпалила все сестре.

Мария слушала сначала ее жгучие упреки с кажущимся спокойствием, чуть-чуть заметно только побледнев, но, когда Марфа стала грубо обвинять ее в погоне за корыстью, подозревать в жадности, синие глаза ее стали почти фиолетовыми и налились слезами и пламенем.

– Ошибаешься, Марфа, – проговорила она точно стиснутыми от боли устами, – я одинаково не люблю их золота, как их самих; мое сердце замкнуто, хотя объятия открыты... Предвечный оградил тебя добродетелью, а в мое тело ниспослал огонь... Легко поворачивается при малейшем нажиме калитка моего виноградника, а ты – точно колодезь, покрытый тяжелым камнем, потому мы и спорим друг с дружкой, как могут спорить стоячая вода и огонь, раздуваемый ветром... Дай мне что-нибудь, – бурно вспыхнув, воскликнула она, – что-нибудь большее, чем веретено, более прочное, чем кудель... Что ты мне дашь? Лущить горох, щупать кур, щипать перо – что? Я предпочитаю щипать толстую шею Ионафана, потому что он ржет при этом как Буцефал, вскидывает голову, стонет и рычит, когда я не даюсь ему, и я чувствую тогда, что живу... Ты хочешь, чтоб я предпочла дым и копоть твоего очага благовонному пламени в амфорах, факелам, пылающим в резных светильниках?.. Ленивое течение дня – искрящемуся вину, перебранку с прислугой – музыке арф, сладостному пению флейт, пылающим глазам, разноязычному, звучному говору, шепоту восхищения, когда в легких сандалиях я порхаю в воздушной пляске... потом неистовому, безумному восторгу, когда я одним движением откину хламиду и, открывшись, стану, нагая и прекрасная, перед их глазами... Что дашь ты мне, скажи, взамен тех опьяняющих, как цветы, ласкающих и легкомысленно-игривых, как золотые рыбки, стихов, которые так очаровательно умеет шептать на ухо грек Тимон – скрежет жерновов! крик осла! О, я во сто раз предпочитаю циничную, дерзкую речь Катулла, когда он похлопывает, где удастся, каждую девушку, гогочет здоровым смехом, а когда разъярится, как жеребец, бессвязно бормочет любовницам страшные, дикие слова, чтобы распалить их до разнузданного бесстыдства... Что ты мне дашь? Ничего, ничего, – говорила она, точно с отчаянием, разрыдалась и убежала к себе.

После этого происшествия Мария некоторое время не выходила из своей горницы и не пускала никого, кроме своей верной прислужницы Деборы, которая знала, как вести себя в таких случаях, – она приносила ей пищу и питье и без слов убирала нетронутое кушанье.

Марфа думала, что сестра делает это ей назло за причиненную обиду. Но это было что-то другое – длительный припадок меланхолии и тоски, какие с ней случались время от времени.

Мария чувствовала в эти тяжелые минуты, что она совершенно одна, как одинокий шатер в пустыне, как утлая ладья в открытом море, которую уносит и заливают волна, но не может приподнять достаточно высоко, ни затопить совсем; что она проводит жизнь в кольце каких-то половинчатых наслаждений, в лихорадочном искании чего-то неумолимого, что живет в ней, и плачет, и тоскует, но не в силах осознать себя, не в силах найти себе формы...

Она чувствовала тогда отвращение и ненависть к длинной веренице своих поклонников, которые тянулись к ее телу, как стадо к траве, все похожие друг на друга, все одинаковые. Она встречала их улыбкой врожденного кокетства, ожидала от каждого чего-то большего, чем трепет телесного нутра, и каждый раз обманывалась. Гордый патриций и плебей-солдат не отличались друг от друга почти ничем: первый только изящнее и нежнее обнимал, второй громче пыхтел, давал короткий миг сладострастной истомы и в то же время будил чувство неудовлетворенности.

Она ни разу не испытала ласки, опьяняющей до полного забвения, до утраты последних следов сознания; все эротическое вдохновение, которым она умела возбуждать себя, приводило лишь к острому экстазу полной разнузданности, после которой наступала жгучая боль и сознательная досада от того, что чего-то ей не дает наслаждение. Бушующая кровь разрывала артерии, но не волновала души. Ее обнимали самые сильные, самые красивые, достойные резца скульптора мужские руки, но не прижали к сердцу ни одни... К ней льнуло так много, но

не прильнул никто... Ее длинное тело казалось текущей волной, через которую проплывали мужчины, чтобы пройти и исчезнуть...

Уста ее были полны поцелуев, но девственная чаша сердца была пуста.

Эта пустота чувства открывалась по временам перед ней, как кричащая бездна, и тогда наступали эти одинокие дни, полные тайных слез и громко взывающей тоски...

Она переставала наряжаться, разрывала одежды, как по умершим, и ждала откуда-нибудь спасения, каких-нибудь новых необычных волнений, вдохновенных восторгов или нечеловеческих страданий.

А когда ниоткуда ничто не приходило, после приступов жестокого отчаяния, беспорядочных терзаний, траурных мыслей, причудливых планов и решений наступал период истомного покоя, мертвенной внутренней тишины. Мария, как бревно, падала на ложе, засыпала надолго крепким сном и просыпалась, не помня о пережитом, точно исцеленная, совершенно здоровая физически и отдохнувшая телом, напоенным кровью медленно, но постепенно нарастающей страсти.

Так было и в этот раз.

Знающая свою госпожу Дебора по удару молотка о бронзовую дощечку поняла, что кризис прошел. Она быстро вскочила с циновки, на которой сторожила у порога, и подошла к широкой, завешенной цветным пологом постели. Мария приподняла чуть-чуть припухшие веки, открыла окутанные влажным туманом глаза и сонным взглядом из-под длинных ресниц водила по бронзово-коричневым формам полунагой невольницы.

Дебора трепетала от волнения, овальное лицо ее ярко очерченного египетского типа потемнело до самой шеи от жгучего румянца, так как госпожа ее, переняв от греческих развратниц обычай, допускала ее иногда к своему богатому ложу, чтоб в гибких объятиях влюбленной в ее красоту девушки испытать особо тонкие, удивительно нежные ощущения.

Дебора подошла, вся дрожа, заметив, как у Марии легко раздуваются ноздри, и застыла вдруг, видя, как закрываются снова, точно розовые створки раковины, глаза ее госпожи.

Минуту длилось волнующее ожидание... Наконец Мария бросила сонным голосом:

– Уже поздно?

– Прошла уже четвертая стража, тени коротки, – промолвила сдавленным голосом Дебора.

– Четвертая, – лениво повторила Мария и, не открывая глаз, блаженно потянулась, причем тонкое шерстяное покрывало соскользнуло вместе с прядью выющихся волос на каменный пол, открывая пышное, теплое, порозовевшее от сна тело, гладкие, как атлас, плечи, раскинутые в стороны полные, упругие груди, округлые бедра и сеть тонких голубоватых жилок на изгибах, покрытых нежным, как у персика, пушком.

У Деборы голова кружилась от восхищения, она закрывала глаза и сжимала до боли проколотое ухо, чтоб утишить стучавшую кровь.

– Надо вставать, должно быть, жарко... Заспалась я страшно, – заговорила Мария и после минуты неопределенного раздумья ленивым движением повернулась лицом к подушке, утопая в пушистых волосах, рассыпавшихся, точно развязанный сноп, по шее, плечам, рукам и краю постели.

– Собери волосы, – сказала она.

Черные умелые пальцы невольницы окунулись в яркое зарево, расплетая локоны, искусно выпрямляя точно из красной меди свитые кольца. Расчесанные пряди были уложены вскоре в один пламенный поток, который, сверкая золотом и темным пурпуром красного дерева, струился по телу и, казалось, пылал в его обаятельной теплоте. Дебора разделила этот поток надвое и стала заплетать в косы.

– Пахнут еще?

– Опьяняюще!

Дебора окунула лицо в шелковистые волны волос и, опьяненная, точно в беспамятстве, стала целовать их, а потом горячими, как расплавленный сургуч, губами прижалась к белым плечам...

– Ну! – ежа молочно-белые плечи, капризно защищалась Мария, – ты щекочешь меня, черная, – захохотала она и стала в шутку отталкивать маленькой ножкой разгоряченную прислужницу, попала пальцами в ее полные груди и весело воскликнула:

– Ну и грудастая! Как тыквы... Наверно, изменяешь мне уже?... Говори, с кем?

И она усадила ее рядом с собой, обнимая точеной рукой, сверкавшей своей белоснежностью на бронзовой коже египтянки.

– Я – тебе, госпожа? – возразила та с неподдельным испугом в широко раскрытых черных, как жженные зерна кофейного дерева, глазах.

– А что ж! Попробуй! Не один уже меня расспрашивал про тебя. Ты зреешь, груди-то у тебя, смотри, какие, телом пышная, в ногах гибкая – возьмут тебя охотно, заплатят хорошо, я тебе дам приданое... Ступай в свет...

– Никогда!

– Ну скажи, так ты любишь меня? За что? Разве я добрая? Помнишь, как я побила тебя сандалией? А вот тут, – она указала рубец на руке египтянки, – у тебя еще след от моей булавки.

Дебора поднесла к губам пораненное место и, крепко целуя его несколько раз подряд, повторяла в перерывах:

– Бей меня, рви, топчи, мучь до крови – я хочу, я люблю...

– Любишь? – задумалась Мария. – Странно, я тоже немного. Я не знала, но однажды как-то молодой Катулл, когда я раздрадила в нем страсть до неистовства, стал стегать меня моею же косою... Я сначала почувствовала боль, а потом вся сомлела, каждый удар как-то непонятно возбуждал меня, как накаленные обручи, жгли меня полосы от этих ударов... Я укусила его тогда до крови – соленая, липкая... Приятно баловаться с мальчишками – на то эти бестии и созданы. Но глумиться над собой – дай им только волю, они тебя задавят своей конской силой и звериными объятиями!

Дебора между тем тянулась всем телом к Марии, прижалась к ней грудями и пыталась опрокинуть. Но Мария вскочила вдруг, выпрямилась, как тростник, протянув руки вверх, упруго перегнулась назад, а потом подалась вперед, опуская руки на ее черные плечи.

Невольница обняла госпожу под мышками и, не ослабляя объятий, скользила ими все ниже и ниже, целуя страстно ее шею, груди, бедра и, наконец, упала на колени, не помня себя от упоения, блуждала губами дальше...

По белому телу Марии пробежала видимая мелкая дрожь, она лихорадочно затрепетала, сжала колени и, с силою погрузив пальцы в жесткие волосы прислужницы, отстранила голову...

Откинутое назад лицо Деборы выглядело точно черная маска. Из-под губ, искривленных страдальческой улыбкой, дико сверкали острые зубы, оскаленные до клыков; в закатившихся, точно у слепой, белках глаз блестели крупные слезы.

– Ты страшна, как Астарта, – прошептала с жутким трепетом Мария, а потом, сжавшись, положила на ее губы кисть руки. Дебора жадно стала пить тепло ее пальцев, зашаталась и с глухим стоном упала к ногам Марии.

– Дебора, Дебора, – приводила ее в чувство Мария, трогая ногой темное, спазматически вздрагивающее тело.

Невольница минуту лежала как мертвая, потом, наконец, поднялась на руках и встала, заслоня лицо и глаза.

– Черна ты, как железо, а горишь легче, чем солома... Береги себя, похотница, а то ненадолго тебя хватит, – строго журила ее Мария. – Ну, не смущайся и кончай волосы, прибавила она мягче.

Дебора еще дрожащими пальцами стала зачесывать косы высоко, на греческий манер, пользуясь, как левша, с одинаковой ловкостью обеими руками; она работала довольно долго, потому что у Марии было слишком много упрямых прядей, а она не любила носить множество завязок в косах и вместо широкой ленты на голове предпочитала одну сетку из тонких золотых нитей.

Когда Дебора окончила, Мария подошла к изящному, дорогому овальному зеркалу из полированной меди и засмотрелась на собственное отражение.

В высокой прическе, точно в золотом шлеме, она выглядела действительно обаятельно, напоминая мраморную статую богини Победы. Она рассматривала себя долго и с наслаждением; наконец, ее полные, никогда не смыкавшиеся вплотную губы раскрылись в торжествующей кокетливой улыбке, обнажая мелкие ровные, как две нитки жемчуга, зубы.

– Морщинка у меня, морщинка! – вскрикнула она с деланным испугом, указывая Деборе на прелестную складку вокруг дивно поставленной шеи, – а вот тут темное пятнышко, – притворно горевала она над очаровательной родинкой, прятавшейся в золотистом пуху под левой рукой.

Она взглянула на груди и, видя чуть-чуть набухшие розовые бутоны, шаловливо прикрикнула:

– Не прыгать, голубки, а то дам вам по клювику! – побила она их пальцами, так что обе затрепетали, как упругая сталь...

Дебора тем временем наливала в воду кефарного масла; но Мария не хотела купаться, а велела только облить себя и вытереть досуха мохнатою тканью. Делая это, Дебора рассказывала ей, что где случилось, кто о ней спрашивал, сообщила о присланном подарке молодого Натейроса, сына богатого Сомиуса. Это был бронзовый подсвечник, изображавший стоящую на руках танцовщицу; непристойно растопыренные ноги служили вставками для свечей, а посредине была вделана маленькая лампада. Мария смеялась над веселым остроумием мастера, любуясь поистине тонкой резной работой.

Окончив умывание, Дебора вынула шкатулку с румянами; но госпожа велела ее закрыть и подать плоские деревянные сандалии, золотую цепочку на шею и голубое платье с разрезными рукавами, застегивавшееся золотой пряжкой на левом плече и свободно ниспадавшее на грудь и спину, чуть-чуть открывая стан немного выше талии.

– А сегодня никого не было? – спросила она.

– Был какой-то человек из Галилеи.

– Из Галилеи? – обрадовалась Мария, вспомнив прекрасную страну, где она провела детство и раннюю юность, – Где же он?

– В саду, с Марфой и Лазарем, – ответила Дебора, завязывая бантом ремни сандалий.

– Убери в комнате, – бросила Мария, и, закрываясь от ослепительного солнца веером из пальмового листа, побежала по каменным ступенькам искать галилеянина.

Услыхав оживленные голоса, она направилась в сторону тенистой магнолии и издали увидела силуэт внимательно слушавшей Марфы, сгорбленную фигуру задумчиво прислонившегося к дереву Симона, лежавшего на циновке бледного Лазаря и оживленные жесты длинных рук сидевшего спиной к ней мужчины.

Она подошла ближе и вся затрепетала – она узнала крупный череп и широкие плечи в заплатанном, грубом, вылинявшем на солнце верблюжьем плаще: это был Иуда из Кариот, которого она не видела с тех пор, как он таинственно покинул ее.

Лазарь, увидев Марию, радушно улыбнулся, окидывая восхищенным взглядом ее дивную фигуру. Оглянулся и Иуда, встал и приветствовал ее словами:

– Предвечный с тобою!

– Да благословит тебя предвечный, – ответила обычным приветствием Мария глухим от внутренней тревоги голосом.

– Садись и послушай, – предложила сестре Марфа. – Иуда принес интересные новости.

Мария послушно села, опуская, точно легкую завесу, свои длинные ресницы на глаза. Только когда Иуда начал говорить, она украдкой вскинула на него мимолетный взгляд.

Он мало изменился: это было то же опаленное солнцем и ветром, подвижное, сильное лицо с глубокими неопределенного цвета глазами, смотревшими пронизательно и немного вызывающе из-под густых нависших бровей; большой крючковатый нос придавал ему хищное выражение, выдающиеся челюсти с чувственными губами, козлиная борода, выступающие на лбу шишки и всклокоченные над ним, напоминавшие рога, рыжие волосы делали его похожим на сатира; это впечатление усиливали еще волосатые ноги в грубых сандалиях, напоминавших копыта, до того запыленные, что на них трудно было различить ремни.

– С берегов тихого Генисаретского озера, – продолжал он свой рассказ, – возносится новый свет. Сейчас пока он напоминает только разливающуюся утреннюю зарю, но завтра, может быть, это будет огонь, свинцовая туча, гром и землетрясение.

– Говорят, необыкновенный пророк явился в наших краях. Сын, помнишь, плотника Иосифа и красавицы Марии, дочери Анны и Иоахима, Назаретянин, Иисус зовут его, – объяснил Марии, о чем идет речь, Лазарь.

– Он изгоняет злых духов и бесов, – прибавила с многозначительным вздохом Марфа.

– Не так ли, как Баарас? – припомнила Мария; а когда Иуда заявил, что он сам видел, как из дома исцеленной пророком одержимой выбежал, в образе красивого юноши, дьявол, который проник в нее, когда она шла за водой, глаза ее заискрились веселым, легкомысленным смехом при мысли о том, сколько раз она была так одержима на цветущих лугах в окрестностях Магдалы.

– Он исцеляет лунатиков, прокаженных и всяких больных, – с жаром продолжал Иуда. – Женщина, много лет кровоточившая, исцелилась, прикоснувшись к краю одежды его, от силы, которая изошла от него. Он излагает свои мысли в притчах, собирает вокруг себя нищих, проповедует и крестит водой...

– Как Иоанн, – вставил Симон.

– Иоанн! – перебил Иуда. – Что Иоанн? Он умел только читать нравоучения, осуждать и вечно предвещать бедствия, как будто не слишком уж достаточно перенес их народ израильский. Он готов был заставить каждого снять последний плащ, одеться в рубище, угнать в пустыню, в терновый шалаш и заставить питаться саранчой натошак! А Иисус превратил воду в вино, к радости пировавших на свадьбе в Кане Галилейской. Он отпускает грехи, не взваливает лишних забот, хотя не с миром, а с мечом и судом, как сказал он, явился он на землю, и господство над ней он обещает отдать не тем, кто связывает тяжкие бремена для наших плеч, сами же не ударяют палец о палец, а, напротив, униженным, преследуемым – нам, которыми помыкает и священнослужитель, и равнодушно улыбающийся саддукей, и которых всякий последний легионер толкает ногой, как собаку!..

– Ты увлекаешься, Иуда, ты чересчур увлекаешься, – Строго заметил Симон. – О, – он поднял вверх руку и свою седую голову и продолжал прерывающимся от волнения голосом: – Предвечный давно уж не посылает нам великих пророков, но зато все чаще и чаще появляются среди нас разные шарлатаны, которые поднимают смуту и возбуждают чернь, обманщики и смутьяны... Как сорная трава, распространилось беззаконие по земле нашей. Откуда ты знаешь, что он – это тот праведник, за которого он выдает себя? Разве мало есть таких, которых следовало бы предать проклятию при звуках козьих рогов и пламени черных свечей над кадрами с кровью и исторгнуть навеки из среды народа?

– Он творит чудеса, – пробормотал в ответ Иуда.

– Но чьею силою – господней или царя бесовского?

Иуда нахмурился и угрюмо задумался; в голове его бродила смутная мысль, что безразлично, чьею силою, лишь бы добиться своей цели. Симон же продолжал между тем:

– Все это кажется мне сомнительным. Почитай Священное писание, и ты увидишь, что из Галилеи не может быть пророка. Ты знаешь поговорку: «Может ли выйти что-либо путное из Назарета?»

Иуда очнулся от своего забытья, подумал и вдруг начал с пафосом читать наизусть:

– «И ты, Вифлееме, земля Иудова, ты нисколько не меньше между князей иудейских, ибо из тебя изыдет вождь, который править будет народом моим, народом израильским!» И вот как раз в Вифлееме, куда направился Иосиф на перепись, согласно безбожному декрету императора, исполнились дни Марии, и она родила этого сына... Из Вифлеема, значит, происходит Иисус, и знайте к тому же, – прибавил он таинственно, возбужденно потрясая в воздухе рукой, – из дома Давидова происходит он, как мы проследили и высчитали.

Последние слова произвели сильное впечатление: Лазарь приподнялся на локте, точно желая встать, причем лицо его стало бледно как смерть. Симон застыл, как стоял, с поднятою кверху головой и, казалось, всматривался своими выцветшими глазами в далекое небесное видение. Марфа беспокойным взглядом окидывала лица мужчин, перебегая от одного к другому и ища у них правды.

Меньше всех была взволнована Мария; она слишком далеко уж отошла от верований, надежд и упований своих окружающих, чтоб быть в состоянии понять чувства, возбуждаемые в них принесенными Иудой вестями; к тому же она не доверяла Иуде, помня, как он наскоро сочинял ей фантастические истории, которыми вскружил ей голову до того, что она отдалась в его власть. Она считала его теперь не разбирающимся в средствах лгуном и подозревала какую-нибудь хитрость. Она оценивала его верно, но лишь отчасти. Иуда был от природы человек непостоянный и легкомысленный. Он измышлял, но делал это не всегда сознательно, часто увлекаемый пылким воображением, бурным темпераментом, который легко заставлял его перебрасываться от одной крайности в другую; его безудержная фантазия бессознательно преувеличивала и приукрашала действительность в пользу того, что он сам желал в ней видеть или показать другим.

Обладая недюжинными способностями, несмотря на недостаток образования, он имел большой запас схваченных тут и там сведений, проницательный ум и большой житейский опыт, который позволял ему недурно разбираться в запутанных делах этого потерявшего под собою почву, раздираемого разладом, внутренне распадающегося и сжатого железным обручем Рима краем, какой представляла в то время Иудея.

На этой постоянно как будто сотрясаемой и пылающей почве Иуда с ранней молодости начинал строить здание честолюбивых мечтаний во что бы то ни стало возвыситься, хотя бы для этого пришлось перейти через кровь и грязь; но недостаток постоянства в планах, какой-то безумный порыв торопливого нетерпения, которое гнало его с места на место, разведали в прах его остроумно задуманные начинания. Проходили годы, а Иуда оставался все таким же бездомным бродягой, каким родился.

Одно время он носил белую одежду, шарф вместо пояса и небольшой топорик иесеев, которые вели коммунальную жизнь, но не выдержал испытания строгой секты, устранявшей из жизни всякое наслаждение как зло. Потом ему захотелось во что бы то ни стало изучить Священное писание, но ни сухая схоластика, ни туманный мистицизм не могли согласоваться с его живым, реально настроенным умом. Находясь потом в услужении у священников-саддукеев, он проникся их холодным эпикуреизмом и в глубине души начал сомневаться в святости предписаний сурового ритуала. Зато в мелких уличных бунтах, беспорядках и смутах он чувствовал себя в своей стихии, но всегда умел вовремя уйти, когда дело принимало неблагоприятный оборот. Таким, например, образом, примкнув к Иоанну Крестителю, он позорно отрекся от пророка, когда тот был заключен в темницу, хотя во времена его успеха считался горячим его поклонником, не будучи, однако, единомышленником, потому что постоянные призывы к покаянию, аскетический образ жизни, вечно укориженный тон отшельника в корне

противоречили его чувственной, раздраженной неудачей, преисполненной страстных порывов и желаний натуре.

Соприкосновение с Христом произвело на Иуду необыкновенно сильное впечатление.

Привлекательный образ прекрасного юного мужа, который не отказывается от вина, пиров, женщин, веселья и в то же время собирает вокруг себя простой народ и утверждает, что первые будут последними, а последние будут первыми, мало заботится о соблюдении ритуала, отвергает долгие богослужения и посты, исключает посредничество между людьми и предвечным лицемерных священнослужителей и в смутных еще пока притчах предсказывает чуть ли не ниспровержение существующего порядка, сразу увлек Иуду.

Слушая с любопытством рабби, он ощущал всей грудью свежесть и новизну не встречавшегося дотоле учения. Он знал с уверенностью, что это, несомненно, муж божий, но совершенно непохожий на прежних пророков, на первый взгляд как будто бы верный закону, в действительности же еретик и отступник, разрушающий старое, стремящийся к новому, удивительно всепрощающий к слабым и униженным, к падшим и грешникам, строгий к богатым и добродетельным фарисеям.

Это отношение учителя восхищало его, но в то же время преисполняло страхом перед опасными последствиями, поэтому, несмотря на то что в душе он стал его горячим приверженцем, он скрывал действительные свои чувства, сохраняя вид равнодушного зрителя.

Но когда, однако, Иисус начал упоминать о близящемся в скором времени царстве, об участии в этом царстве его учеников и, несмотря на дурную славу, не только призвал его, Иуду, в число ближайших, но даже отличил, назначив его на единственную в общине должность казначея, Иуда, понимая это царство совершенно по земному, дал сразу увлечь себя горделивым мечтам о таких высоких достижениях, о каких до того не смел мечтать и которые теперь показались ему вполне возможными, близкими временами – обеспеченными. Видя, как растет круг приверженцев помазанника, как сам учитель становится все смелее и смелее, как усиливаются его влияние и могущество, как увеличиваются его мудрость и милость, как он приобретает славу чудотворца, судит, отпускает грехи и карает – положительно властвует, – Иуда первый стал предполагать, что это, может быть, тот предвозвещенный, более чем пророк, которого униженный народ Израиля призывал со все растущей тоской и страстью, муж мести и суда, который примет власть и почести, чтобы все народы и языки служили ему.

Ошеломленный, пожалуй, испуганный даже этой мыслью, он отделился от сопровождавшей Иисуса толпы, чтоб прийти в себя, и явился в Иерусалим, где давно не бывал.

Он понимал, что завоевание Галилеи ничего не значит, поскольку Иудея и ее столица, Иерусалим, святыня всего народа, твердыня священнослужителей, не подчинится власти Христовой. Поэтому он решил исследовать здесь почву и развил лихорадочную деятельность, но вскоре убедился, что об учителе знают здесь очень немного, почти ничего, кроме каких-то смутных слухов, которые трактовались с полным пренебрежением, как тысячи других слухов, в изобилии рассеиваемых по оживленному, полному сносимых из разных концов света новостей, шумному и говорливому городу. Ввиду такого положения вещей он решил действовать осторожно и своим рассказам об Иисусе придавал тон, приносивший к настроению слушателей: то горячей веры, то недоверчивого скептицизма, тщательно скрывая свою собственную связь с личностью рабби.

Среди многочисленных известий, которые, в свою очередь, были сообщены ему, он узнал случайно о пребывании в Вифании семьи Лазаря, которую он совершенно потерял из виду, а известие, что пресловутая иерусалимская гетера Магдалина, о которой он кое-что слышал, эта та самая Мария, потрясло его до глубины души.

В нем вспыхнули долго не дававшие ему покоя и с трудом зарубцевавшиеся воспоминания об упоительном наслаждении, по которому он так часто тосковал, о котором тщетно пытался забыть, призрак которого преследовал его в знойных снах.



Образ прекрасной девушки предстал перед ним как живой в памяти во всей своей красоте, и пламень неудержимой страсти охватил его с ног до головы, как тогда, когда он повалил ее на сочную траву, сорвал повязку с ее бедер и, ослепленный, обезумевший, сам потерял сознание, покорил ее, пораженную испугом, и разбудил в ней дикое желанное страдание.

Ему вспомнилась та мрачная грусть, с которой он слушал ее тихие рыдания, потом следующие ночи, столь же страстные, но во сто крат более сладостные, искрящиеся ее уже разбуженной и жаждущей мужской силы кровью, разнузданные с обеих сторон, дышащие то дерзкой, то нежной лаской.

В глазах его вспыхнуло зарево всклокоченных ее волос, пышное, как сноп, цвета созревающей ржи, ее тело, полуоткрытые, как снотворный мак, уста, затуманенные огни темно-синих глаз, полные, гладкие, как оливковое масло, белые, точно рвущиеся из гнезда наслаждения голуби, раскинувшиеся между плечами груди.

Он выбежал из дому, прислонился, шатаясь, к полуразрушенной стене и глухо стонал, потом стал вырывать ногтями камни, чтобы в физическом усилии успокоить неудержимое кипение бурлящей крови. Пароксизм прошел, однако проснувшаяся не только душевная, но неукротимая чувственная любовь, жгучее страстное чувство, которое овладело им когда-то на берегу Генисаретского озера, подавило, растоптало все другие. Агитация в пользу учителя, связанные с нею намерения и планы совершенно перестали для него существовать. В сердце, опаленном страстным желанием, в груди, терзаемой сомнениями – то надеждой на радушный прием, то отчаянием, что он будет отвергнут с презрением, в хаосе клубящихся в мозгу мыслей, в развинченных нервах, в запекшихся губах жил беспрестанно, заслоняя все, обаятельный образ, заколдованный в слове: Мария...

Иуда несколько раз взбирался на Элеонскую гору и с полдороги возвращался назад. Он прекрасно понимал, что встретит там не покорную ему прежнюю девушку, а гордую, утопающую в роскоши, прихотливую, капризную и разборчивую гетеру, которая может его высмеять, прогнать, как собаку, или в порыве жалости послать ему через последнюю прислужницу, как нищему, миску похлебки и несколько оболков.

– С чем я приду? – шептал он, потрясая своей большой головой. – Что я скажу ей?

И вдруг, точно осененный воспоминанием о личности Иисуса, он с доверчивой, непонятной для себя радостью, точно озаренный откровением, решил пойти во имя его и с вестью о нем.

В таком настроении очутился он в Вифании, радушно принятый богобоязненными членами семьи.

Со свойственной ему впечатлительностью он так горячо увлекся своими собственными рассказами, что появление Марии взволновало его менее сильно, чем ожидал. Он не потерял ни нити рассказа, ни самообладания, и это сознание своей силы придало ему толчок для слишком смелого возражения, какое он позволил себе в отношении к глубоко чтимому всеми Симону.

По минутному смущению Марии он понял, что он еще не стал для нее ничем. Быстрыми, как молния, взглядами он пытался проникнуть в ее мысли, но видел лишь пышные, почти совершенно красные на солнце волосы, томным спокойствием дышащее розовато-белое лицо, длинные опущенные ресницы и прекрасные, цветущие формы, соблазнительно вырисовывающиеся в складках ее гибкого платья. Чуть-чуть выдвинутая вперед ее маленькая ножка, блестящая на траве, точно полоска снега, на минуту поглотила все внимание Иуды.

Быстрые волны нервных судорог пробежали по его лицу, рука опустилась, словно раненная стрелой, глаза закрылись будто в обмороке, и он весь вздрогнул, точно охваченный внезапным пронизывающим холодом.

Присутствующие приняли это за проявление мистического волнения, но Мария не дала себя обмануть – она быстро отдернула назад ногу, встала и, напевая вполголоса какую-то плясовую, фривольную, совершенно не подходящую к общему настроению песенку, проворным,

эластическим шагом, чуть-чуть колыхаясь в стане, стала удаляться, провожаемая недоуменными взглядами, и стройная, как колонна, исчезла под навесом дома.

Огорченная поведением сестры, Марфа, желая затушевать впечатление, распорядилась подать завтрак, но ни белый хлеб, ни мед, ни мех с вином не были в состоянии сломить печать молчания, сомкнувшую уста.

Суровая сосредоточенность Симона, мечтательная задумчивость Лазаря передались Марфе. Иуда ел, точно не замечая, устремляя минутами взор то в прозрачную даль, то в трепещущие на песке солнечные пятна и дрожащие тени листьев.

Он думал о том, как ему понимать поведение Марии: она ушла, но не сердясь, а, напротив, как будто маня, с игривой песенкой на устах. Кому ж она пела: ведь не добродетельной же Марфе, не больному Лазарю, не престарелому Симону?..

Сердце его забилося сильнее, душа затрепетала, и, глядя затуманенными глазами на угол плоской крыши, покрывавшей ее покои, он прошептал:

– Что бы ни случилось... сегодня под ночь я войду!

## Глава вторая

Очутившись у себя, Мария приказала Деборе убрать горницу, разложить на полу шкуры и ковры, вынуть из ларца и развесить по стенам цветные завесы, расставить на столе статуэтки, подсвечники и разные безделушки, точенные из мрамора, бронзы и перламутра, приготовить ванну с благовониями и повязки для волос.

Девушка оживленно суетилась по комнате, Мария же, водя пальцами по струнам лютни, шаловливо улыбалась своим мыслям.

Она уж знала, что Иуда явился главным образом ради нее; впечатление, какое произвел на него вид ее обнаженной ноги, не ускользнуло от ее внимания. Она догадывалась, что он придет, придет наверно; и вот она сначала ослепит его, даст ему один миг надежды, поиграет и потом оттолкнет. Так она отомстит ему – совсем не за то, что произошло в ту безумную ночь на поросшем травой, лозняком и цветами лугу, на берегу шепчущего голубые сказки озера – это должно было случиться не с этим, так с другим кем-нибудь из множества поклонников, которые кружились подле нее, как ночные бабочки вокруг горящего костра. Иуда только оказался наиболее решительным, до дерзости смелым и сильным, как подобает мужчине. Крепки и жгучи были объятия его рук, точно обручи из раскаленного железа; как выжженные клейма горели на грудях, на губах, на плечах и на бедрах его порывистые, жгучие поцелуи, ошеломляли клокочущий путь взыгравшей крови дикие взрывы ненасытной страсти и глухой, непонятный, хищный и таинственный, как первобытная речь, лепет оборванных слов, обрывков ласк, сладострастия и забывшего стыд безумья. Он овладел ею, как лев ягненком.

В то время как другие надкусывали только кожуру ее плода, розовую от бурлящей крови, он одним взмахом стряхнул ее с дерева, как спелое яблоко, зажег пламенным румянцем и, облитую соками наслаждения, захлебнувшуюся в них, открытую до последних тайников, до утраты сознания, – своей тяжестью увлек ее в омут бездонно глубоких неведомых ощущений. В те звездные ночи, холодные до дрожи и в то же время до духоты знойные, она лежала на душистых травах и млела в упоении с ним, превращаясь из стройной девушки в пышную, розовую, цветущую женщину с круглыми, выдающимися вперед грудями.

При этом воспоминании у нее раздулись и налились кровью жилы и чуть заметный чувственный трепет, точно щекочущее прикосновение чьих-то нежнейших крыльев, пробежал вдоль спины и бедер.

Он получил все – ее первый крик, боль, стыд и судорожный девичий трепет – и ушел от нее, бросил, оставил.

Она крепко дернула струны, положила лютню на колени и засмотрелась на подаренную ей одной финикиянской небольшую статуэтку богини Астарты с продолговатыми глазами и маленьким ртом, что должно было выражать высшую степень красоты: правой рукой статуэтка прикрывала дельту, составленную линиями лонного всхолмления и пахов, представляющую символ безграничных любовных таинств, левою – поддерживала тяжелые полные груди, что вместе с широкими бедрами и вздутым животом должно было подчеркивать, что она является вечно плодородной матерью всего в мире.

Мария знала, что это – загадочная богиня, разжигающая в людях страсти, возбуждающая бешенство похоти во всех тварях, спаривающая птиц в гнездах, зверей в лесах, всемогущая повелительница тайников тела, культ которой поддерживался в недоступных храмах бесчисленным сонмом жриц.

Она слыхала об устраиваемых в честь ее таинственных мистериях, в которых пляшут сотни девушек, одни переодетые в мужские одежды, опоясанные фаллосами, другие в широко расстегнутых платьях, открывающих при каждом движении наготу тела.

Эти посвященные ей девушки, принеся однажды свою девственность в жертву богине, всю жизнь продолжают служить ей. Символом их высокого достоинства является божественный треугольник, украшение, завивание и умещение благовониями которого является предметом особых забот; они купаются в вызолоченных внутри бассейнах, в окрашенной пурпуром воде, смывая ее со всего тела, кроме волос, которые с течением времени приобретают цвет запекшейся крови. При закате солнца они отдаются прохожим, при восходе луны – себе. Потом зажигают светильники в большом зале, ложатся все рядом на этот ковер и грезят среди звезд о наслаждении, которое является для них предметом религиозного культа и учения, черпаемого не только у всех народов, но и у всех тварей земли и воздуха.

Чуть пробуждается рассвет, они встают нагие, поднимают кверху розовые от сна лица, красные головы и гибкие руки и поют гимн, восхваляющий причудливое противоречие богини: вечную плодовитость и вечную девственность, чистую непорочность и безграничное сладострастие.

Она знала, как преклоняются перед нею женщины Востока и как молят, чтоб она как можно дольше при превращениях месяца брала с них дань их крови.

Потом вспоминалась Марии суровая, страшная Геката, дочь Титанов, блуждающая в тьме ночной, бодрствующая над криком роженицы, тешащаяся страшным воем сук, убиваемых на ее алтаре.

Она содрогнулась невольно и с умилением перевела взор на алебастровую статуэтку Афродиты, которой приносятся в жертву распустившиеся розы и нежно воркующие белоснежные голуби, у которой есть цветущие зеленокудрые рощи, где белобедрые девушки всей земли с легкомысленной игривостью открывают свои прелести, маня к себе любовников.

«Не над всеми владычествует предвечный, – мелькнуло в душе боязливое сомнение, – непостижимый, неведомый, страшный, мстительный и строгий... А как нежна Афродита, как любвеобильна Астарта, как прекрасен лучезарный Аполлон! Эти дивные боги, отыскивающие самых красивых женщин, любовно прижимающиеся к ним в виде лебедей, ласкающие золотистым дождем. Златоволосыми нимфами, хороводами опьяненных вакханок заполняют они воды, луга и рощи – тешатся венками из роз и листьев винограда, мелодическим пением и неуклюжей беготней сатиров. То, чего одни стыдятся, другие высекают на кувшинах, на порталах зданий, а на страже лесов, развесистых деревьев, уютных, тенистых, созданных для свиданий уголков ставят похотливое божество – Приапа.

«У нас все грех, – размышляла она, – все связано строгими предписаниями сурового закона! А там, на Востоке и Западе, куда ни кинешь мыслью, – кипящий радостью жизни мир, где любовные упоения – не грех, а дар богов, предмет искусства и религиозного культа! Здесь – стон покаянных псалмов, а там на дивном эллинском языке радостно звучат брачные песни, сладостные звуки флейт, сверкают пестротой красок и движений воздушные пляски».

Она подняла кверху руки, точно простирая их в широкую даль, сладостно потянулась и обхватила сложенными руками проникавший через щель в стене сноп лучей заходящего солнца.

Лютня соскользнула с колен и, падая, зазвучала тихо всеми струнами.

У Марии слегка раздулись ноздри – она почувствовала опьяняющий аромат мирры и благовонных масел, доносившийся от бассейна, в который погружались по локти темные руки Деборы.

Когда прислужница размешала благовония, Мария одним движением скинула одежды, сбросила сандалии и погрузилась по пояс в ванну, потом легонько раскачалась, любуясь на круги и пузыри, которые пошли от нее по взволнованной воде, наклонилась над ней и стала ласкать поверхность ее сосками груди, похожими на почки шиповника, плеснула по воде рукой и, разыгравшись, как сирена, начала брызгать на Дебору, бороться с нею, смеяться и щекотать, –

на мгновение окунулась, потом вынырнула и упругим движением выскочила из бассейна на каменный пол. По ее порозовевшему телу пробежал мимолетный трепет холода.

Она ухватила рукой край льняной ткани и окуталась ею; ткань облегла ее, точно золотистая пелена, своими складками, выделяя еще рельефнее дивное строение и богатство ее форм. Дебора между тем просушивала ее волосы, потом стала расчесывать их, разделяя на отдельные пряди, смазывать благовониями, заплетать в косы, завивать в кудри и локоны и с особым искусством укладывать на голове.

Мария обтирала свое тело и понемногу сбрасывала с себя покрывало; открываясь, точно статуя, из-под ткани, она отдавала распоряжения Деборе:

– Приготовишь мне этот желтый, тканый серебром пеплон и не забудь наполнить маслом все светильники, чтоб горели до рассвета – сюда придет галилеянин.

Дебора с изумлением посмотрела на госпожу.

– Кто? Этот, в заплатанном плаще? – спросила он удивленно, тем более что Мария, считаясь с домашними, не принимала дома мужчин.

– Что ты знаешь, – засмеялась Магдалина, – он большего стоит, чем иной щеголь; силен, как кентавр, грудь, как у гладиатора, правда, ноги и руки у него жилистые и косматые, и больно уж он грузен, – но ты здорово устанешь, прежде чем он обессилеет. Я его знаю – придет наверно. Я отправлю его ни с чем – можешь воспользоваться, не пожалеешь; в луке его бедер туго пружинится стрела амура; как у коня селезенка, играет в нем кровь...

«Ни с чем уйдет от меня», – повторила она про себя и побагровела от гнева, смешанного со злобой, за то, что он смел ее бросить, когда она отдалась ему вся девственно свежей; расстаться с нею, по которой столько мужчин сходит с ума, за которую не один готов спустить все свое богатство, которой, если бы только она хотела, сыпали бы пригоршнями сикли, драхмы и драгоценности... А он не потратил ни оболы, выпил даром и оставил ее, как разбитый кубок, даже не оглянувшись.

Она откинула прочь простыню, сильнее затянула на бедрах поданную повязку, подвязала ее снизу и тяжело, так что затряслись груди, опустилась в кресло с высокими поручнями.

Машинально положила на придвинутую скамеечку белые ноги, и пока Дебора шлифовала ее ноги и натирала лепестками душистых цветов, погрузилась в никогда не покидавшие ее воспоминания о крае, где она провела детство, о холмах, лугах и озере Галилеи... В воображении ее благоухали луга ароматом чабра, иссопа, фиалок на откосах, заалел яркими цветами опьяняющий олеандр, зазвенели колокольчики возвращающихся стад, заулыбались ей юные загорелые лица пастухов, заколыхалось в светлой дали лазурное зеркало Тивериадского озера.

Она увидела, точно в тумане, игры купающихся с нею ровесниц, тот день, когда притаившиеся молодые рыбаки словили ее и черноглазую Сарру в сети и заласкали до потери сознания, прежде чем успели прибежать старшие.

Вспомнился бег взапуски по лесам, непонятная усталость в ногах, когда ее, запыхавшуюся, догонял стройный Саул, обхватывал за талию, поднимал на воздух и целовал в губы; нервные, визгливые возгласы бегающих кругом подруг, а потом возвращение в сладостном возбуждении в мелькающую вдали огоньками Магдалу, куда она иногда бежала разгоряченная, болтливая, а иногда плелась точно сонная, полупьяная, ленивая, полная сладостной истомы.

Обвеяли ее первые нежные, как пушинки одуванчика, волнения девичьей любви, первые стыдливые свидания, потом украдкой словленные у колодца поцелуи и объятия, дразнящие, обдающие жаром кувыркания на сенокосах и, наконец, Иуда; а потом с другими – как будто случайные встречи, в которых она иногда против намерения отдавала вдруг все, подчиняясь каким-то внезапно находившим на нее безотчетным порывам, какой-то необузданной стихии, каким-то простым, непосредственным побуждениям, чуждым теперешней ее, часто совершенно открытой, утонченной распушенности.

Грудь ее высоко поднялась от вздоха, губы искривились в печальной улыбке, глаза заволокли туманом, и она покорным движением, точно отдаваясь на суд и милость, склонила голову, чтоб дать обсыпать волосы лазоревой пудрой, расширить кисточкой дуги бровей и окрасить еще ярче румянами несомкнутые губы.

Она встала, чтоб надеть длинный, с широкими рукавами, протканый серебром пеплон из желтого шелка. Мягкая, почти прозрачная материя нежными складками облегла ее фигуру, глубокие вырезы спереди и сзади открывали ее атласные плечи и почти до половины точеные, разделенные маняще-обворожительной тенью молочно-розовые груди. Платье с одной стороны от талии было не сшито, а лишь свободно связано перекрещивающимся зеленым, скрученным втрое шнурком, давая возможность видеть как бы через решетку красивую ногу от розовой пятки до дивно очерченного бедра. Посмотрев с удовлетворением и гордостью на отраженную в зеркале свою фигуру, Мария велела подать шкатулку и, подумав, выбрала ожерелье из бледно-розовых кораллов, обвила им несколько раз шею, а золотую застежку в форме ящерицы свесила между грудей.

Потом, накинув теплую шерстяную хламиду, вышла на крышу. Проходила уже четвертая стража. Быстро гасло зарево знойного дня, застилаемое мало-помалу ночной тьмой.

По далеким скалам еще блуждали отблески погасшей зари, а на темно-синем небе выступали кучками ярко искрящиеся звезды.

В долинах лежала уже густая тьма и сонная тишина.

Кое-где только двигался огонек колышущегося факела, где-то вдали ревел запоздавший вол, и ему отвечал протяжно и глухо рог пастуха.

Раскаленные от дневного зноя черепицы крыши согревали Марию снизу, а лицо обвеивал бодрящий холод, от которого сжимались, вздрагивая, плечи и крепко прижимались друг к другу колени.

Во дворе еще царило движение: она слышала раздраженный голос Марфы, что-то объяснявшей прислуге, потом шаги, скрип засова у ворот и тяжелый кашель Лазаря. Долго следила за узкой стрелкой света на песке, которая потом вдруг сразу погасла.

Наступила длительная минута напряженной тишины. В сердце Марии закралось легкое беспокойство; она внимательно прислушивалась, но слышала только шум в ушах, стук пульсирующей крови в висках и тревожный шепот дрожащих на деревьях листьев.

Ей стало очень холодно, неуютно, тоскливо и горько – губы стянулись в обиженную улыбку, ей хотелось щипать, топтать ногами и плакать, когда вдруг тихо заскрипели ступени, хлопнула доска на галерее.

У Марии заискрились глаза, она быстро спустилась с крыши и вошла в комнату, багряно-красную от огней светильников, обрамленных пластинками раскрашенной пурпуром слюды.

– Идет! – бросила она, прерывисто дыша, Деборе, упала на разостланные шкуры, высыпала на бронзовую тарелочку горсть жемчуга из бус и дрожащими руками начала нанизывать их на шелковую нитку.

Когда Дебора вернулась и доложила, что Иуда хочет войти, Мария уже была совсем спокойна, и шаловливо-насмешливая, торжествующая улыбка играла на ее губах.

– Скажи ему, что он может войти, – сказала она, – а сама оставайся за порогом, и если я закричу, подымешь шум на весь дом.

Дебора скрылась.

Через минуту у входа в комнату появился Иуда.

В ярком освещении его серый плащ засверкал, точно чешуя, а рыжие взлохмаченные волосы приобрели цвет огня. В пунцовом отблеске светильников он производил впечатление дьявола, остановленного у ворот рая.

Он посмотрел кругом и зажмурил глаза, ослепленный светом и неожиданной роскошью горницы.

– Войди, гость, под мой низкий кров, обмой усталые ноги, вон там бассейн и утиральник, – сказала Мария и, не вставая, продолжала нанизывать жемчуг.

У Иуды стало нервно подергиваться плечо; он повернул к ней свое нахмуренное лицо и проговорил глухим, упавшим голосом:

– Ты живешь как царица!

– Нашел что сказать... Если хочешь знать, как я действительно живу, так спустись с горы, переправься через Кедрон и пойди направо, а когда увидишь укромный белый домик с мраморными колоннами и тенистым садиком, спроси гречанку Мелитту – сошлись на меня, тебя впустят – четыре невольницы покажут тебе вещи, действительно достойные внимания – ты познакомишься с моим мужем и со всем моим богатством.

– Мужем! Так у тебя есть муж? Ничего мне не говорили ни Марфа, ни Лазарь.

– Потому что они и сами не знают!

– Кто ж он такой?

– Я сказала тебе – Мелитта, гречанка из Эфеса, черноволосая красotka с голубыми глазами, стройная и гибкая, как тростинка.

– Мелитта?

– Ну да. Влюбилась в меня эта девица по уши, и мы поженились по их обычаю. Посаженою матерью была Коринна. Я ждала у нее, в украшенном пальмовыми листьями алькове – в белой вуали, намащенная благовониями, обсыпанная золотистой пудрой. Мелитта явилась в мужской тунике и повезла меня на прелестной колеснице при звуках свадебных гимнов, ударах в тимпаны и игре флейт, а потом она взяла меня под руку, и я переступила обитый розами порог ее опочивальни. С тех пор мы живем вместе, имеем общий дом и общее ложе, поскольку каждая из нас не занята с кем-нибудь другим. Сюда я убегаю только по временам, когда мне надоест городской шум или захочется видеть брата и сестру... Что ж ты стоишь как столб? Садись, вот скамейка!

Иуда тяжело опустился на указанное ему место и глядел на Марию тупым взором.

Мария лежала, опершись на локоть, с открытой грудью, залитая розовым светом, с очаровательной, шаловливой улыбкой, с насмешливо, искоса и, в то же время, кокетливо глядящими темно-синими глазами.

Она опускала то и дело пальцы в тарелочку, полную жемчуга, и, нанизывая жемчужину за жемчужиной на нитку, казалось, была всецело поглощена своей работой.

– Да, Иуда! Я познала с ней более нежные ощущения, чем жилистые объятия нахалов мужчин; своими длинными ресницами она щекочет меня, точно поцелуями бабочек; порывисто дышат на моей груди ее упругие груди, похожие на плоды айвы; в бурной волне ее густых черных локонов светятся, как месяц в ночной глубине, ее пылающие, бледные от упоения щеки; ее крошечные губки трепещут внутри моих уст, а потом, точно розовая бронзовка, скользят по всему моему телу; как трудолюбивая пчелка, они не пропустят ни одного цветка любви, каждый пошевелият трепетной лаской поцелуя. Она прикрывает меня, как нежная мать, свежим теплом своего тела, сосет, как ребенок, соски моих грудей. Она прекрасна, гибка, проворна, шаловлива и мелодично-певуча; у нее черный пушок над верхней губой, пухлые руки и стройные белые ноги – ей невозможно противиться, когда она станет просить и ласкаться. Ты можешь иметь ее, если понравишься ей, без расходов – она не корыстная. Ну, о чем ты думаешь, Иуда? – тараторила она.

– Чудеса рассказываешь, – пробормотал Иуда.

– Какие чудеса? Эх вы, оболтусы, вам кажется, что только вы одни нам милы и нужны. Посчитай-ка наши прелести и свои. Мы с ног до головы осыпаны ими, как виноградник осе-

ню, а вы что? Кактус – сухой, торчащий нелепый стебель; вы скучны, нудны, однообразны, неподвижны в своих проявлениях любви, сальны и грубы!..

На лице Иуды отразилось страдание – он чувствовал, что она просто насмехается над ним, глумится, ее слова причиняли ему боль, как хлыст, ее речь свергала его в бездну отчаяния.

– Где же ты скитался? Где бывал? Рассказывай, – спросила она, принимая более серьезный вид и, откинув нитку жемчуга, села, закинув руки на затылок и сплетая пальцы.

Иуда поднял осовелые веки и увидел сквозь розовую мглу, точно сквозь сон, ее чарующее лицо, окруженное рассыпавшимися локонами, точно огненными языками, и тонкие до локтей, а дальше развивающиеся в полные плечи, обнаженные почти до подмышек руки. Глубокая грусть овладела им, и он начал, как бы с трудом вспоминая, беспорядочно рассказывать.

– Я скитался от моря до моря; был над Красным, над Тивериадским и над Мертвым – горькое оно и пустынное, плавают по нему в блеске солнца черные глыбы, точно обугленные трупы каких-то неведомых творений. Ходил я через Иордан, утонул в Семехонитских болотах, высох в зное пустыни, измерил шагами вдоль и поперек все пространство от Сирии до Идумеи, от Самарии до страны Моавитской, так что ремни сандалий впились мне по самые кости. Как исхудалый шакал, я прокрадывался в города, как гиена между трупов, искал я тебя... Мария! Мария!

– Ты ушел, чтоб искать... – чуть слышно промолвила Мария.

– Да, я ушел – что же я мог тебе дать? Шалаш, сплетенный из терновника, вместо крова, ивовую циновку вместо ложа и мешок под голову?... Вот почему я убежал, но не сумел убежать... Ты стояла на моем пути везде, где бы я ни был, – в золотом тумане песков пустыни сверкали мне твои волосы; из бледных известняковых скал глядело на меня твое белое лицо; во вздутых волнах озер мне виделись твои высоко вздымающиеся груди. Ты являлась мне в небесных облаках, в мерцании звезд, в сиянье луны. Горело беспрестанно мое тело и иссыхало нутро от тоски, чтоб ты обвила меня, как когда-то, и трепетала под тяжестью моего тела. Сзади и спереди окружила ты меня страстью неугасимую, в жестокое ярмо собрала ты все мои члены, на вечный зной обрекла их. Когда ты распяла меня на своем раскинутом теле, в пламень превратилась тогда кровь моя и не может угаснуть... Я долго искал; наконец, я узнал, что ты – Магдалина, и вот я пришел...

– Чтоб предложить мне шалаш из терновника и мешок с соломой, – перебила она его насмешливым и раздраженным голосом. – Дешевый из тебя купец... Я не уличная девка, чтобы за сикль отдаваться каждому встречному. Мне золотом платят, понимаешь, – продолжала она с жаром, – драгоценностями всего мира... Я могла бы купаться в жемчуге, утопать в кораллах, если б хотела, но я не гонюсь за богатством – деньги мне ни к чему – моя кровь должна закипеть, нутро мое должно вспыхнуть, зажечься должны мои соки!.. То, что у меня есть, это не плата, это знак благодарности – на память... Ты обязан мне самым ценным подарком, а что ты принес, что, что?!!

– Пока ничего, – хмуро ответил Иуда, – но я принесу больше, чем ты думаешь, больше, чем ты можешь надеяться, больше, может быть, чем я сам ожидаю.

– Откуда?

– Ты слышала о Назаретянине, – сказал, придвигаясь к ней, Иуда, – об Иисусе, который объявился в Галилее? Ты знаешь, кто он такой, кем он будет?... Не всем я могу открыть, что... – он понизил голос, – но тебе я скажу: это, может быть, тот, более сильный, чем Илья, которого предсказывали сыпokon века пророки, которого ждет уже много столетий томимый тоской народ Израиля... Он говорит о своем царстве и обещает это царство вскоре. Это обещание он подкрепляет чудесами, которые я сам видел... А царство это должно быть больше, чем трон Соломонов – понимаешь ли ты, – больше, чем трои Соломонов...

Таинственный голос Иуды вместе со смутными познаниями из Священного писания, которые Мария приобрела из бесед с Лазарем, величественное имя Ильи, слава имени Соло-



монова – все это вместе вызвало в Марии какое-то суеверное, боязливое чувство, с которым она прошептала:

– Понимаю!

– От врат, через которые восходит солнце, до врат, через которые оно заходит, должно простираться могущество и столица его – это больше, чем Рим! Понимаешь?

– Понимаю! – повторила Мария и, придя в себя от минутного ошеломления, недоверчиво посмотрела в горящие глаза Иуды.

– В виссон и пурпур облекутся его плечи, ниц падут народы перед лицом его, в прах склонятся великие мира сего... Царскую диадему возложит он на чело свое. Скипетр в руке его. Меч на его бедре... – Он задыхался, он не мог говорить больше от волнения.

– Ну, предположим, что так будет, – начала Мария, точно уча его, – что он действительно будет царем, Что мне и тебе от этого?

– Как что? – удивился Иуда. – Кто-нибудь же должен стоять в блеске его славы, приближенный к его трону, опытный советник, искушенный в житейских делах. А кто же может им быть? Ведь не простодушный же Петр, не тяжелодум, брат его, Андрей, левша к тому же, не колеблющийся Фома, не неотесанный Варфоломей, придурковатый Филипп или ни к чему не способный Иаков, и не Иоанн, все достоинства которого заключаются в зычном, как раскаты грома, голосе, – эти простаки достойны в лучшем случае носить край его плаща. Ключи от казны, бразды правления – кому поручит он, как не тому, к кому уже сейчас со вниманием склоняется его ухо, кому он доверил заботу об убежище и столе, – мне, – он ударил себя в грудь, – Иуде из Кариот?

Ноздри у него раздулись, жилы на висках налились кровью, от всего лица его веяло гордостью и честолюбием.

– А тогда, Мария, – он поднял обе руки вверх, – я клянусь, что сдержу до йоты свое слово... Сколь щедро раскрылась красота твоя, столь же щедро развернется рука моя для тебя. Ты станешь первой среди наложниц моих – в резном из черного дерева ложе, украшенном золотыми листьями, под пурпурным балдахином, поддерживаемым медными грифами, будешь ты ожидать меня. Кедр обощет стены твоего чертога, гладкий камень – пол твоей горницы, а чистое серебро – потолок... Проворные пальцы толпы невольниц будут день и ночь вышивать тонкими узорами твои одежды. Корабли из далеких стран, нагруженные всевозможными богатствами мира, на вздутых парусах и гибких веслах будут спешить к воротам твоего дворца, караваны верблюдов согнут свои колени под тяжелым выюком у его порога... Не сиклями, не минами, а талантами заплачу я свой долг. Не будет рынка в мире, который бы не принес тебе дары свои... Ночь твоя будет утопать в наслаждении, а дни – в пиршествах и веселии.

– Иуда, Иуда! – проговорила с искренним сочувствием Мария, – вечные сказки горят в пустой голове твоей. Вечно гоняешься ты за миражами, развеваемыми ветром, а изношенный плащ твой рвется в клочки, и пока что ты блещешь дырами, а не золотом... Пока ты выстроишь свой дворец, рассказывай лучше, как там сейчас в Галилее? Зелены, верно, как изумруд, луга, полно водою и снующими рыбками мое лазурное озеро... – В голосе ее затрепетало тихое умиление, темно-синие глаза заволоклись дымкой тумана.

Иуда притих и как будто грустно задумался.

– Я обошел его почти все вокруг – продолжал он через минуту, понизив голос, – я был в Гамале, в Капернауме, в шумной Тивериаде, долго пробыл в Магдале – я посетил там рощу и лозняки, там на берегу... помнишь... Высоко, до пояса выросла там трава, а в той лоштинке, где мы ее смяли, разрослись кругом темно-синие гиацинты, лиловые ирисы и серые пушистые кусты белены. Белые кущи лигустры в полном цвету...

– Лигустры, говоришь ты, – томно прошептала Мария. – Почему ты не принес хотя бы одной ветки?..

– Она завяла бы на солнце.

– Я оживила бы ее своими устами...

– Мария! – застонал Иуда и склонился над нею. От плата его на нее будто пахло запахом вспаханного поля и свежего, только что скошенного сена; она полусомкнула глаза и, отталкивая его ленивым движением, порывисто повторила несколько раз:

– У тебя шершавый плащ, шершавый, шершавый... не хочу... ужасно шершавый.

Иуда одним движением скинул плащ и остался в короткой полотняной тунике, едва доходившей до колен, без рукавов, с разрезом у жилистой шеи. Губы его дрожали, могучая волосатая грудь часто дышала...

Мария украдкой сквозь опущенные на глаза ресницы глядела на его загорелые, косматые, прямые ноги и дрожащие, как в лихорадке, мускулистые руки... Мелкая дрожь пробежала у нее по спине, легкий трепет зашекотал голени, розовые ноздри стали раздуваться, и пунцовые губы раскрылись, точно два лепестка.

Иуда, бормоча ее имя, раскаленными руками искал под ее пеплоном пряжку опоясывающей бедра повязки. Пальцы у него дрожали и блуждали, как слепые, по всему телу, наконец встретились с рукой Марии и общим усилием развязали затянутые ремни.

Мария услышала шуршащий звук разрываемого вдоль пеплона, глухой, похожий на сдавленное рычание, его стон, почувствовала пламень его суровых глаз в своих глазах и могучие объятия мечущегося в диком порыве огромного тела.

– Иуда! – хотела крикнуть она, но голос ее свернулся, сдавленный внезапным спазмом дикого упоения...

Догорали фитили в светильниках, сменялась утренняя стража, близился уже рассвет, когда ее покинула сонная истома, смешанная со сладостным упоением.

Она подняла веки и долго смотрела на его изрытое складками, иссеченное бурями загадочное лицо, на огромный, закрытый наполовину всклокоченными космами лоб; ей казалось, что эта голова никогда не спит, что в этом черепе вечно происходит тяжелая работа бурлящих и клокочущих, как вода в котле, мыслей.

Она толкнула его локтем – он проснулся.

– Уходи, уходи, – повелительно сказала она ему, – скоро все проснутся. Вот тебе, – она достала из-под изголовья пригоршню монет, – дай Деборе, а то мне стыдно за тебя. Иди! – Она вырвалась из его объятий. – Ты слышал! – проговорила она приказывающим голосом, сдвинув брови, возбужденная и бледная.

Иуда встал, надел плащ, крепко затянул пояс из недубленой кожи и, что-то бормоча, крадучись вышел из горницы. За порогом он остановился над спящей Деборой, пересчитал деньги: четыре больших серебреники и горсть оболлов. Он высыпал мелочь в подол прислужницы, а остальное спрятал за пазуху и усмехнулся как преступник.

«Мне явно начинает везти», – подумал он, расправляя грудь могучим вздохом. Он остановился на галерее и властным, несколько угрюмым взглядом окинул широко расстилавшийся перед ним сереющий в брезжущем свете ландшафт, уносясь вдаль глазами, точно ища границ маячащего в мечтах царства на земле.

## Глава третья

– Воистину, – говорил Симон, – полученные вести заставляют о многом призадуматься. Самое главное – это то, что Иоанн, который, как ты знаешь, по желанию развратной Иродиады был заключен безбожником Антипой в темницу, сообщается с Иисусом. Он спрашивал его через своих учеников: не тот ли он, который должен прийти? Или мы должны ждать другого? Ответ рабби был уклончив, но если такой праведный муж, как Иоанн, спрашивает... Иоанн не бросает праздных слов!.. – Он умолк и глубоко задумался, а поблекшие глаза его точно подернулись какою-то непроницаемой пеленой.

– Доколе же будем мы ждать? Доколе? – со скорбью в голосе проговорил Лазарь. – Разве не пора, чтоб истерзанная земля наша породила того, кто отразит горе и неволю Израиля, сокрушит иго, расторгнет цепи и вернет его к былой славе на вершинах Сиона... С каждым днем нас становится все меньше и меньше – на погибель и поругание отдают нас враги.

Симон вздрогнул. Его старческое лицо избородилось глубокими морщинами, и он заговорил прерывающимся голосом:

– Пусть ослепнут они, пусть источат их болезни, пусть крепости их, их твердыню и надежду сокрушит меч, пусть погибнут они с позором, пусть проказа, мор и голод покроют их, словно плащ, пусть трупы их растащат дикие звери, расклюют лесные птицы! Будь суров, о господи, когда возгорится гнев твой, когда обратишь ты против них негодующий лик свой... Гибель, опустошение поставь на путях их, пусть будут стерты с лица земли...

Он не мог продолжать – руки его тряслись, как в лихорадке, а дыхание со свистом вылетало из пересохшего горла. На бледном лице Лазаря появился слабый лихорадочный румянец, его кроткое лицо омрачилось, и он промолвил глухо:

– Умирает Иоанн в темнице Махеро, гибель и опустошение не на их, а на наших тропах... Кто этот Иисус, кто он, хочу я знать прежде, чем умру.

Симон мало-помалу пришел в себя, стал спокойнее и, разводя по временам руками как бы в знак недоверия, стал рассказывать:

– Странно как-то ведет себя этот юноша. Он не назир, давший обет благочестивого воздержания; напротив, он шествует в веселии и радости. Слышу я, будто он нарушает субботу; правда, он творит чудеса, но водит знакомство с мытарями и даже самаритянами, не отталкивает грешников и не клянет их, а утешает, – и это в такое время, когда беззаконие расплодилось, как плевелы, размножилось, как саранча... Скользкий это путь, на котором тот, кто пойдет по нему, может упасть... Если это действительно пророк, то воистину такого еще не было... Если же нет, так из этого произойдет только ветер, новое волнение, и снова в тяжком недуге будет страдать земля Иудейская, пока не исполнятся дни гнева господня. По всей Галилее идет слух о нем: осанна сыну Давидову! С пальмовыми ветками встречают его дети у ворот города, и он не противится. Порашу и гафтору толкует он, как никто до сих пор, хотя редко бывает в доме молитвы: он предпочитает собирать толпу под открытым небом и притчами говорить о грядущем царстве... У него двенадцать избранных сподвижников, все простые галилеяне, кроме одного Иуды, который, ты знаешь, родом из Кариот. Его участие в этом сообществе поражает меня и заставляет задумываться. Иуда – неглупый человек!..

– Иуда редко пребывает вместе с истиной, – вставил Лазарь.

– Я это знаю, но я не так легко доверяюсь тому, что болтают людские языки. Я решил сам отправиться в Галилею и собственными глазами увидеть этого пророка.

– В Галилею? – оживился Лазарь. – Я готов идти с тобою.

– Я возьму мула; поговорю с Марфой...

– Будь сдержан только, когда будешь говорить с нею; она скоро на язык, а здесь нужно действовать рассудительно и осторожно, потому что неведомо еще, являются ли слова рабби

древом жизни или легкомыслием, которое приводит к разгрому, как вихрь, вздымающийся, чтоб улететь и исчезнуть!..

Следуя предостережению, Лазарь объяснил Марфе свое намерение желанием посетить родные места.

А в ответ на опасения Марфы перед трудностью путешествия выдумал, будто ему снилось, что если он напьется воды из Капернаумского источника, то исцелится его болезнь. Об Иисусе он упомянул лишь, что там, кстати, пребывает сейчас тот чудесный рабби, который, как утверждает Иуда, очищает людей даже от проказы.

– Так, может быть, взять с собой Марию? – заметила Марфа.

– Марию? – смутился Лазарь. Ему показалось неудобным брать с собою в это, как-никак религиозное, путешествие такую легкомысленную сестру.

– Нет, – ответил он, подумав, – я предпочел бы взять тебя...

– Конечно, я бы тебя одного никогда не пустила. Марию я хотела потому, что если этот Иисус...

– Этот Иисус будет царем, – раздался с галереи веселый, звонкий голос. – Иуда будет его казначеем и построит мне дом – прекраснее, чем дворец Соломона. Я подожду уж, пока придут от него разодетые посланцы, и вам тоже советую...

– Мария! – укоризненно остановил ее Лазарь. – Твоя речь болтлива и не обдуманна. Ты сняла стыд с твоего лица и вмешиваешься еще в совет мужей!

– Лазарь! – жалобно застонала она; первый раз услышала она такой тяжелый укор от брата. Лазарь же, очень любивший Марию, посмотрел на нее мягче и промолвил:

– Болит мое сердце за тебя, потому что я знаю, что веселье кончается печалью, а ты чересчур весела.

Мария вернулась в свою горницу.

Лазарь постоял минуту, посмотрел с некоторым неудовольствием на Марфу, которая явилась невольно причиной неприятного происшествия, и промолвил сквозь кашель:

– Приготовь все для пути. Симон тоже идет с нами.

Несмотря на то что Лазарь торопил, ему пришлось прождать несколько дней, пока Марфа справилась со всеми делами, потому что ей нужно было, кроме приготовлений, связанных с путешествием, подумать об оставляемом хозяйстве, так как она знала, что сестра, если б даже хотела, не сможет ее заменить, а ее ближайший помощник, престарелый доверенный слуга Малахия, как определенно хотел того Лазарь, должен был отправиться с ними, чтобы помогать им в пути.

Наконец, когда все приготовления были окончены, вечером, когда солнце начало спускаться и свалил дневной зной, небольшой караван тронулся в путь.

Мария провожала их до вершины Элеонской горы.

Благочестивая сосредоточенность Симона, глубокая задумчивость Лазаря превращали это паломничество в торжественное и молчаливое шествие.

Впечатлительная Мария догадалась по всему, что брата побуждают предпринять это путешествие какие-нибудь необыкновенные причины, что сон, о котором он говорил, это только предлог для нее и сестры. «Не вмешивайся в совет мужей!» – вспомнила она укор брата. Значит, они совещались! Ей было интересно, о чем, но она не решилась спросить. В первый раз расставалась она на такой долгий срок с братом и сестрой, и ей было как-то тоскливо и грустно и отчасти к тому же досадно, что никто ее даже не спросил, не хочет ли она принять участие в общем путешествии.

Когда наступил момент расставания, у нее на глазах навернулись слезы, но торжественная суровость Симона, с какою он промолвил на прощание: «Будь здорова!» – удержала ее от рыданий.

Мария нежно поцеловала брата и сестру, прижала губы к морщинистой руке старца, дружелюбно кивнула головой Малахии и долго смотрела на сбежавшую вниз крутую тропинку, по которой они спускались, пока не скрылись за Голубиной скалой; потом они еще раз показались на холме и исчезли из виду.

Когда Мария вернулась домой, она почувствовала необыкновенную пустоту. Прислуга куда-то разошлась, жернова остановились, замерли обычное движение и работа.

«Пожалуй, и мне не остается ничего другого, как перебраться к Мелитте», – мелькнула у нее в голове мысль, но она заколебалась. Она знала, что в городе ее ждут искушения, которым она не в силах будет противиться, и ей показалось неудобным так сразу после ухода Марфы бросить все.

– Лучше хоть первое время похозяйничать как следует, – прошептала она и легла на ковер.

Между тем тишина во дворе становилась для нее все более невыносимой; длительные минуты серой скуки наводили на нее состояние какой-то необычайной отяжелелости, и она то и дело лениво потягивалась. В комнате к тому же было так душно и жарко, что она скинула с себя одежды и сквозь опущенные ресницы стала рассматривать свои белые ноги, рисунок синих жилок в изгибах рук, выдающуюся грудь, подымавшуюся от каких-то смутных, щекочущих, тонких возбуждений. Она закрыла глаза и долго лежала без движения, как бы погруженная в полудремоту, потом вдруг очнулась, присела на ковре, оглядываясь кругом и потирая лоб.

«Что мне тут делать?» – задумалась она, взяла в руки черенок молоточка, поиграла им и, наконец, решительно ударила в дощечку. На этот звук явилась Дебора. Мария посмотрела на нее вопросительным взглядом и потом вдруг сразу сказала, накидывая на плечи пеплон:

– Сбегай к Мелитте и скажи ей, что мы перебираемся к ней надолго.

– Еще сегодня? – обрадовалась Дебора.

– Сомневаюсь, успею ли. Постарайся вернуться поскорее.

Дебора побежала, а Мария начала выбирать разные предметы, с которыми не любила расставаться, а именно: гребень из слоновой кости, хрустальную шкатулку с благовониями, ручное прекрасно отполированное зеркало в форме листа магнолии, с большим рубином на рукоятке, выдолбленную гемму из аметиста с магической надписью, нитку жемчуга, пару золотых браслетов на щиколотки, соединенных цепочкой, чтоб мелко ступать и побрякивать при ходьбе, и еще несколько безделушек.

Всего этого было в общем немного, так как самые богатые одежды и драгоценности оставались на хранении у гречанки.

Уложивши все это в шкатулку из темного дерева, Мария приготовила себе голубую хламиду из тонкой мягкой шерсти, белую накидку и черную шелковую вуаль.

«Сегодня не успею», – подумала она, глядя на яркое зарево заката, быстро догоравшее, уступая место стелющейся уже по долинам ночи.

В горнице становилось уже темно, когда прибежала запыхавшись Дебора с букетом пунцовых гвоздик, перевязанных золотистым шнуром.

– Что ж ты так долго замешкалась? – промолвила Мария, погружая лицо в подарок Мелитты.

– Меня все останавливали по дороге, выпытывая обо всем. Саул дал мне сикль, Тимон дал динарий за приятную новость. Я получила две красивые ленты, – тараторила счастливая Дебора. – Мелитта велела сказать, что будет ожидать всю ночь.

– Как же мы пойдем в темноте? Еще сверну ногу, подождем хоть до рассвета, – ответила Мария. – Закрой пока сундуки, вынеси на воздух ковры, а прежде всего, зажги огонь.

Дебора принялась за работу, Мария же развязала цветы, сплела их в душистый венок и надела его на голову. Сильный аромат опьянял ее; она вышла на галерею и загляделась в ночь. Ночь была довольно светлая, хотя безлунная; на безоблачном небе ярко сверкали звезды.

Мария с любопытством водила глазами по небосводу, глядя, как они мерцают. Вдруг одна оторвалась и покатила синей полоской по небу. Мария догоняла ее взором до самой вершины горы, за которой она скрылась и из-за которой как бы снова всплыла в форме тусклых огоньков.

Эти огни мерно колыхались и явно приближались к дому.

Сердце Марии радостно забилося: она поняла, что это факелы, и вскоре различила маячащие в темноте фигуры нескольких человек и услышала звон струн.

– Будут песни! – обрадовалась она и спряталась за угол, чтобы ее не могли заметить.

Струны звенели все явственнее и ближе и у самой ограды на минуту затихли; факелы погасли, кто-то кашлянул, зазвенела цитра, и раздалась песня или, вернее, ритмически произносимый гимн, подчеркивавший отдельные слова:

*– Прекрасны стены Иерусалима, еще прекраснее башни его стен, но их прекраснее ты, Мария Магдалина, – белая башня, могучая колонна храма любви.*

*Твои волосы – янтарь, багрянец месяца, восходящего из-за гор, витые кольца из меди! В их пламенном зареве станешь ты на лугу нагая, дивный лик твой глянет на запад, левая грудь – на юг, правая – на север, белизна же спины заблестит на восток – и потянется к левой – лебедей веренища, к правой – орлов темно-бурых, как к гнезду упоений; к переду же – лев буйногривый прильнет, пламенем алых ноздрей будет вдыхать аромат твоей крови; а на спину сядет трепетный гриф из пыльной пустыни... И будешь стоять ты в цветах между птиц и зверей, властвуя дивной красой над всякою тварью.*

*Лоб твой пресветлый, как плиты храма, лик твой – лик херувима, губы – раскрытый гранат, слаще плодов из Тирских садов.*

*Жемчуг теряет блеск свой на шее твоей, рядом с богатством плеч твоих – золото меркнет запястий.*

*Роскошны плащи во дворце великого Ирода, но ни один не сравнится с плащом твоих дивных волос; обаятельны краски цветов, но нет равной цвету твоего тела, блестящего, как слоновая кость, цвета созревших снопов.*

*Ноги твои стройны, как подставки у трона, ибо, как трон, прекрасна выпуклость царственных бедер твоих, округлого царства улады.*

*Слышу, как груди твои вздымаются страстью, как паруса кораблей на ветру, в эту ночь плывущих по морю.*

*Допусти меня к ним, пусть в объятиях губ моих их развернутся бутоны, пусть пышное тело согнетсся твое подо мною.*

*Сгорает сердце мое от желаний, пылает нутро, огонь кости снедает.*

*Если ты станешь, как город, – руки мои, как войска, вокруг обложат тебя; если в защитную крепость ты обратишься – преобразится в таран моя кровь, ею ударю в ворота твои, и расступятся стены ее, и кровью вступлюсь я в пробитую брешь, пламень внутри разожгу, пожар нас поглотит...*

*Голос захлебнулся, мелодия смешалась, и цитра вдруг смолкла.*

Мария стояла, опершись о стену, с тяжело колышущейся грудью, ее подмывала волна сладостной истомы, в сердце разгорался огонь.

Но сразу утих жар ее крови, когда она услышала мелодичный звон многострунной кифары и веселый, молодой голос Тимона.

– Почему, – спрашивают у ручья стирающие женищины, – вода сегодня так тепла, мягка и душиста, а белье бело, как снег, и блестяще, как солнце? Потому что вверху купается Мария Магдалина... Согрелась вода под грудями ее, стала мягка меж ладоней, напиталась ароматом ее тела, засверкала заревом ее кос!

Почему нынче рыбы несутся против течения? – вопрошают рыбаки, вытаскивая сети пустыми. Потому что вверху купается Мария Магдалина, и все рыбки сбегались смотреть на чары ее тела, золотистыми жабрами трутся об ее белые ноги, выпрыгивают к ней золо-

*той чешуей из волны и играют, как кудри ее, когда она плещется и колышется, как ладья на воде.*

*Почему так дрожат тростники, хоть нету зефира? Потому что вблизи купается Мария Магдалина, перегнувшись над водой, склоняет свое дивное тело, машет руками и порхает, как радужная стрекозка.*

*Счастливый ручей! Ты обтекаешь ее дивные формы и несешь на себе их чудное отражение к голубой глади озера.*

*Когда ты рождалась, Мария, не Геката, а Афродита прислушивалась к крику твоей матери, баюкали тебя в колыбели хариты, и ты стала розовой, как Эос, светлой, как свежие изломы скал Пентеликона, богатою формами, как коринфская колонна! Зачем ты держишь груди свои в узилище золотой сетки? Выпусти их, пусть, как белые голуби, они летят впереди роскошных форм твоего тела!*

*Я знаю чудесный сад, где цветут алые маки, – я хотел бы упиться ими навеки – это уста твои, Мария Магдалина! Я знаю в золотистом пуху, средь белых лилейных колен устланное из лепестков розы гнездо упоений, – я хотел бы уснуть в нем без сил.*

– И я тоже! – узнала Мария грубоватый голос Катулла.

– Не мешай! – остановил его Сципион.

– Амур, – продолжал играть Тимон, – примеряй изгиб своего лука по бедрам Марии Магдалины; тогда стрела твоя пробьет самый сильный панцирь, пронзит всякий щит и попадет в самое сердце. Ты попал в меня, и я готов пить тебя, Мария, как горячее вино, носить, как плащ.

– Но спереди, – перебил Катулл.

– Не мешай! – промолвила на этот раз Мария, выходя из своего угла.

– Эвоэ! – раздался вакхический возглас юноши.

– Заря восходит, – вдохновенно воскликнул Тимон.

– Сейчас сойдет, – засмеялась Мария и сбежала со ступенек, а за нею Дебора.

– Наконец-то! Выманили тебя! Молодежь окружила ее.

– А где же носилки? – спросила Мария.

– Вот они! – ответил Сципион, сплетая с Тимоном руки, и оба подняли Марию, обхватившую руками их шеи. Октавий с факелом и Саул, потренькивая на цитре, шли впереди кортежа, сзади пыхтел Катулл, который тут же стал так неделикатно приставать к Деборе, что та начала пищать.

– Пусти ее, – пожурила его Мария, – а то она еще выронит шкатулку.

– А что, она носит в ней невинность?

– Меня интересует не ее невинность, а мои безделушки... Несите меня к Мелитте.

– Мы бы предпочли к себе...

– Надеюсь, – промолвила Мария, – но она меня ждет.

– Мы тоже ждали.

– Я обещала ей, а не вам!..

– Я приму и без обещаний, – пробурчал Катулл.

– Ступай к Коринне, медведь.

– Я выпил там весь мед, а ты полна сладости, как улей.

– Но и жал тоже.

– Жал мне не нужно. У меня есть одно, свое, которое тебе бы, наверно, было приятно.

– Твое – нет!..

– А чье?

– Не знаю, – ответила Мария.

Все на минуту примолкли, переправляясь через Кедрон.

– Ну, вот здесь, – Мария соскочила на противоположный берег, – ведите себя как следует, люди могут нас встретить! – Она поправила платье и закрыла вуалью лицо.

Октавий задул факел, и весь кортеж направился в узкий, кривой переулок.

Когда они очутились перед белым домом, окруженным высокой стеной, Тимон позвонил колотушкой.

Открылась калитка, и все ступили на красный ковер, разостланный ввиду прибытия Марии.

У входа показалась бледная от счастья Мелитта, одетая в мужскую тогу. Она взяла Марию одной рукой под руку, другую под колено и торжественно повела ее в разукрашенный зеленью и цветами и усталый мягкими коврами покой. За ней гурьбой последовала молодежь.

– Ах, эта тога, эти ваши лесбосские обычаи! – недовольно ворчал Сципион.

– Я видела тебя три дня тому назад, как ты волочился за развращенным юношей... – огрызнулась Мелитта.

– Что ж нам делать, когда вы такие! Приходится как-нибудь справляться собственными средствами.

– Ты кстати собралась к нам, Мария, – гремел между тем своим хриплым голосом Катулл. – Мы ждем как раз больших развлечений: из Рима приезжает Деций Муций, богатый и веселый юноша, из сословия всадников, которого, на наше счастье, посылает к нам декрет Тиберия.

– За что?

– О, это такая долгая история, что я могу рассказать ее только за бокалом вина или с девицей на коленях, не иначе, – и Катулл молодежато уперся кулаками в бока.

– У него вечно одно в голове, – стукнув себя пальцем в лоб, сказала Мелитта и приказала невольнице принести вино.

– Одно, но хорошее, – продолжал болтать Катулл, – мой принцип: «карпе диэм» – единственные жертвы, какие я когда-либо принес богам, это был козел Вакху и голубь Венере, зато они и охраняют меня.

Ну, а теперь слушайте, – начал он, поднося ко рту полную чашу с двумя ручками и красиво выделанной ножкой. – Его погубила женская... добродетель! Децию понравилась – так же сильно, как мне Мария, некая Паулина, жена Сатурнина. Но Паулина, к сожалению, была настолько глупа, что отвергла с негодованием не только его ухаживания, но даже и двести тысяч драхм, которые он предлагал ей за одну, и притом короткую, летнюю ночь. Сопротивление Паулины до такой степени разожгло избалованного необычайным успехом у женщин Деция, что ему показалось, что он не может без нее жить, и он решил открыть себе жилы. К счастью, вольноотпущенница его отца, вынырнувшая Муция, Ида, очень хитрая баба, захотела помочь своему питомцу и добилась-таки своего. Узнав, что Паулина, равно как ее муж, пылают страстною верою к богине Изиде, она подкупила за пятьдесят тысяч драхм ее старшего жреца, который явился к Паулине и заявил ей, что сам бог Анубис воспылал к ней неудержимую страстью и призывает ее на любовное свидание. Муж и Паулина были счастливы этой необычайной милостью. Паулина, намастившись благовониями, явилась в храм, съела приготовленную трапезу, а потом, когда жрецы заперли дверь храма и погасили огни, ступила нагая на приготовленное ложе. Тогда, тоже голый, как подобает богу, вошел скрывавшийся за завесой Деций и познал поистине божеское наслаждение, так как Паулина славится своей красотой, а думая, что отдается самому Анубису, она не скупилась на самые изысканные ласки. И Деций наслаждался всю ночь на славу. Паулина вернулась домой, вся сияя от счастья, и с гордостью рассказывала мужу о неслыханно сладостных ласках, какими одарил ее Анубис. Через несколько дней, однако, когда она встретилась с Децием, юноша сказал ей: «Спасибо тебе, Паулина, ты сэкономила мне полтораста тысяч драхм. Анубисом был я, и думаю, что не обманул твоих ожиданий...». Но что значит женская гордость! Паулина сначала не хотела ему верить, и лишь когда он рас-



сказал ей все подробности ночного приключения, назвал самые скрытые приметы, которые нащупал на ее теле, она, не столько возмущенная его коварством, потому что была довольна самим приключением, сколько задетая в своей амбиции, что это не был настоящий Анубис, рассказала обо всем мужу. Сатурнин направился с жалобой к Цезарю. Тиберий приказал Иду пригвоздить к кресту, храм разрушить, а статую Изиды утопить в Тибре, Деция он осудил на изгнание, но, я думаю, ненадолго, потому что Тиберий, как известно, довольно снисходителен к такого рода человеческим страстям, за что пусть боги как можно дольше хранят его. Когда Деций явится сюда, у нас начнутся увеселения и пирушки. Марий устраивает у себя первую в честь его приезда, мне он поручил созвать гостей, и вот я приглашаю всех вас... Выпьем за счастливую идею, а пока что сыграй нам, Саул, а мы устроим себе храм Изиды: Мелитта будет Идой, Мария – Паулиной, а я согласен быть Анубисом.

– Хорошо, – сказала весело Мария, – но сначала дай Мелитте пятьдесят тысяч драхм.

– Не хочу, – противилась с притворным испугом Мелитта, – потом вы меня еще пригвоздите к кресту.

– Пригвоздить – не пригвоздим, но разложить тебя крестом я бы не прочь, чернуха, – обнял ее Сципион и, почувствовав, что у нее под тогой нет ничего, шепнул ей на ухо – Пойдем, я дам тебе двести.

– Нет, – ответила Мелитта и посмотрела на Марию.

– Пятьдесят тысяч, – схватился за голову Катулл, – да я дал бы вдвое, если б у меня было, но сейчас у меня есть только один обол, зашитый, по совету Тимона, в пояс; он может пригодиться мне для Харона, который, согласно греческому верованию, перевозит умерших через реку.

– Пойдем отсюда, они готовы нас всех разорить.

– Вот какой ты Анубис! – заливалась смехом Мария. – Осуждаем этого пентюха на изгнание; выведите его, – обратилась она к мужчинам.

Юнцы принялись с трудом выталкивать грузного Катулла, наконец, выкатились вместе с ним за двери, чем пользуясь, проворная Мелитта быстро задвинула засов.

Оставшиеся за дверьми стали было снова стучаться, но, видя, что ничего не добьются, ушли. Пение и бряцание струн, удаляясь, затихло и, наконец, совсем смолкло.

– Ушли, – глухо проговорила Мелитта, медленным движением спустила на пол тунику и осталась нагая, глядя пылающим взглядом в лицо Марии, которая тоже чуть-чуть загорелась под этим взглядом.

– Наконец! – крикнула она вдруг и бросилась к ней на шею. – Я соскучилась по тебе, я видела тебя в снах, – говорила она, тяжело дыша, и расстегнула застежку хламиды.

– Погаси светильники, – шептала Мария изменившимся голосом, сиюсь освободиться из ее объятий.

– Темно будет.

– Я освечу тебе ночь собою, – ответила Мария, скидывая быстро сандалии; когда же огни погасли, она обнажилась вся – прекрасная, действительно светящаяся в сумраке.

Мелитта стала тянуться к ней, а Мария, прижимая ее к груди, говорила нежно и умиленно:

– Ты всегда такая маленькая и худенькая, что кажешься мне иногда не моей милой девушкой, а ребенком.

– Ребенок голоден, – ласкаясь, прижималась к ней гречанка.

Мария подала ей грудь, одну, другую, и чувствовала, как упругятся и распускаются их бутоны в пламени ее уст.

От этих сосущих поцелуев Магдалина разомлела и чувствовала себя блаженно. Чувства ее смешались, подернутые туманом глаза закатились кверху, наконец подогнулись обессиленные колени, она зашаталась и упала на спину.

– Целуй меня, – прошептала она хрипящим голосом, раскрывая налившиеся кровью губы. – Еще! – Вся кожа ее затрепетала неудержимой дрожью, она раскинула руки и вся разметалась на пушистом ковре.

Мелитта, дрожа как в лихорадке, стала блуждать, точно слепая, упоенными счастьем устами по ее телу.

Потом сплелись их руки и ноги, перепутались косы, слились вместе набухшие груди, так что обе казались одним, пружинившимся в страстном порыве телом, и только два пылающих, прерывистых дыхания, шепот двух возбужденных голосов, страстных, глубоких, обрывающихся вздохов свидетельствовали об их раздельном существовании.

Уже было поздно, когда в комнате стало тихо. Обе спали, спокойные, нежные, тихие... Черная головка Мелитты, уткнувшаяся в пышные плечи Марии, выглядела точно ласточка между крыльями белого голубя.

## Глава четвертая

На склоне холма Визефы, в просторной художественной вилле, построенной на римский образец, шел великолепный пир в честь Деция. Обширный триклиний был ярко освещен резными бронзовыми канделябрами тонкой работы по углам и множеством разноцветных ламп-онов, подвешенных у потолка на латунных цепочках. Все эти огни играли на разноцветных плитах мозаичного пола и скользили по красивым фрескам, изображавшим на одной стене – Диану на охоте, а на другой – похищение сабинянок.

В глубине зала умышленно на этот день был устроен помост для фокусников, музыкантов и танцовщиц. Посредине стояли два трапезных стола с девятью софами вокруг каждого. У главного, на «лектус медиус» на самом почетном месте, так называемом «локус консуларис», опершись левым локтем на узорчатую подушку, возлежал Муций Деций, молодой, прекрасно сложенный мужчина с правильными, чуть-чуть холодными чертами полного, гладко выбритого, типично сенаторского лица.

Его туника с узкой пурпуровой каймой и золотой перстень свидетельствовали о том, что он принадлежит к сословию всадников. Трапеза собственно была уже кончена, на столах стояли еще серебряные чаши, наполненные фигами, финиками, миндалем, орехами, сливами, апельсинами, гранатами и всевозможным печеньем, которого уже никто не хотел есть. Начиналась попойка, и прислуга вносила кувшины с вином, пометки на которых, указывавшие происхождение и возраст, обозначенные именами консулов, с большим вниманием осматривал Катулл, единогласно избранный «арбитром бибенди», то есть распорядителем пира... Он долго выбирал как знаток наиболее достойное и, наконец, велел пустить вкруговую амфору фалернского, времен Юлия Цезаря. Когда же вино запенилось в бокалах, он проговорил с важностью:

– Этому кувшину без малого столько лет, сколько мне и вот этой бабе, – он потрепал по спине рослую, дебелиую, крепкую брюнетку с пурпуровой повязкой на черных волосах, которая пересела от бокового стола на его софу и, жалуясь, что ей жарко, скинула с себя пеплон, оставаясь в коротком до колен хитоне, открывавшем ее тяжелые груди, широкие плечи и пухлые белые руки.

Это была Коринна, известная своей разнузданностью гетера, римлянка по происхождению, с которой Катулл промотал все свое состояние и теперь часто пользовался ее богатой шкатулкой, а нередко – еще более богатым телом.

– Что ж это за вино! – сдвинула она густые дуги подчеркнутых бровей. – Или никуда не годное, или ты уж очень стар, слон!

– Не очень уж стар, коль скоро ты не брезгуешь его хоботом, – рассмеялся военный трибун Веспасий, рослый и статный юноша.

Коринна смерила его с ног до головы вызывающим взглядом и промолвила:

– Я не брезгую ничьим, а что я умею его расшевелить, так это не его, а моя заслуга... Зайди ко мне, воин, и ты убедишься, что я большего стою, чем малоопытная молодка... Любовь – искусство, которое познается с течением времени, и я постигла уже все ее тайны и изобрела даже самые новые приемы, от которых ты будешь трястись, как лист, хотя бы и был в полном вооружении.

– Не советую тебе, ты можешь там встретиться с ватагой подчиненных, – съязвил Сервий, ушедший с носом от Коринны после первого визита, намекая на известную ее привычку приводить к себе, когда у нее не было другого гостя, шатающихся по городу гладиаторов и солдат.

– Оставьте ее в покое, – вставил Катулл, – у нее кровь горячее, чем это вино, а это, по моему, уже большое достоинство; границ в своей распушенности она действительно не знает, но даю вам слово, в ней чувствуется талант и поразительная изобретательность! А что она немного чересчур дебела, и грудь ей не закроешь шлемом, так это уж кто как любит; во всяком

случае, лучше подушка, чем сухая доска... Верьте мне, она бела при этом, как молоко, еще вполне упруга, ну и не скупа...

– Ого, – расхохоталась Коринна, – Катулл, наверно, сейчас без денег! Тебе нечего меня ни защищать, ни расхваливать – я сумею сама постоять за себя. Скажу только, что лучше иметь слишком много, чем слишком мало, а у Сервия как раз в самом важном месте большой изъян – изъян, увы, невозместимый!

Раздался всеобщий взрыв хохота, и громче всех хохотали девицы, которые, по примеру Коринны, стали подсаживаться к мужчинам.

Вскоре один Муций Деций остался без подруги, так как все считали, что его подругой может быть только Мария Магдалина. Но она не трогалась с места. Ее раздражало холодное спокойствие этого изысканного патриция, который оглядывал все кругом каким-то небрежным взглядом, улыбался точно из милости и производил такое впечатление, как будто своим присутствием оказывал большую честь собравшимся.

Действительно, светское, но несколько высокомерное поведение высокого гостя стесняло присутствующих. Ужин прошел довольно скучно, и лишь перепалка с Коринной, а потом вино немножко подогрели атмосферу.

Становилось все шумнее и веселее, сыпались сальные остроты и шутки и чересчур вольные шалости.

Подвыпившая Коринна вскарабкалась на колени к Катуллу и губами общипывала лепестки роз с его венка.

Сципион стал искать в платье Мелитты кольцо, которое спустил ей за тунику, а сильно уж шатающийся Октавий, лежа лицом на коленях Глафиры, бормотал что-то бессвязное, умоляя ее, чтоб она вышла с ним в сад.

Тем временем по данному Марием знаку начался спектакль.

На подмостки вбежали четыре нагие молоденькие девушки в венках из виноградных листьев; изображая вакханок, они держали в руках обвитые плющом палочки с шишкою на конце и, ударяя тирсами в тимпаны, стали неистовствовать на сцене, высоко вскидывая гибкие и сильные ноги. Выкрашенные в рыжий цвет их волосы, спущенные короткими локонами, обвивались, точно огненные языки, вокруг их бледных лиц, с которых кокетливо глядели еще почти детские, но уже греховные глаза.

Они схватились за руки, обежали вокруг сцены и вдруг с визгом разбежались.

На середину вбежал одетый в шкуру, с небольшими рожками и ногами, как у козла, смешной, с неуклюжими сладострастными движениями сатир, и началась дикая гоньба. Сатир не мог поймать ни одной; гибкие, смазанные маслом тела ускользали из его рук. А если ему и удавалось изловить которую-нибудь, остальные начинали бить его своими тросточками по спине или бубнами по рогам. Отогнанный, он жалобно блеял по-козлиному; потом, наконец, усталый, присел на корточки и стал грустно наигрывать на свирели.

Вакханки разбежались, а вместо них появилась нимфа, очень красивая полная девушка, приближавшаяся к игравшему медленными движениями, как будто заслушавшись его игры.

Сатир играл все трогательнее, косясь глазами в ее сторону; вдруг он вскочил, обхватил девушку за талию, перекинул ее книзу головой и, воткнув ей свою свирель между ног, с потешными сладострастными движениями унес со сцены.

– Vivat! Сюда давай ее! – ревел Катулл.

– Тише! – шлепнула его по губам Коринна, так как в это время на сцене появились два загримированных по-женски, в женских одеждах и разбурьяченных эфеба и две коротко остриженные лесбиянки в тогах, которые с ловкостью и изяществом разыгрывали скабрезную пантомиму любви наизнанку.

– Вот этого удовольствия я не понимаю, – начал было философствовать Катулл, – хотя даже Платон...

– Не мешай! – остановила его опять Коринна, которая очень любила подобного рода зрелища. – Слушай, играют!

Раздались звуки цитры и флейт, и вышла худошавая, с остроконечными грудями и узкими плечами, высокая, гибкая, с продолговатыми глазами финикиянка. Ее темный торс был обнажен, и лишь от пояса на бедрах спускались до щиколоток, охваченных бронзовыми браслетами, разноцветные ленты.

Она подняла на высоту головы два небольших бубна с бубенчиками и, вскидывая то одну, то другую ногу, стала выбивать ими в такт какую-то удалую мелодию... потом она стала на руки и, перегибаясь назад, начала собирать ртом бросаемые ей фрукты и мелкие монеты, – прошла так несколько раз по сцене, изогнувшись вдруг дугой и, перекувырнувшись в воздухе, стала опять на ноги.

Ее товарищ в белом шелковом камзоле с узкими рукавами, стоявший до тех пор недвижимым, вышел на авансцену, достал два обруча, обмотанных паклей, зажег и выставил вперед. Девушка с разбегу, как упруго развернувшаяся змея, бросилась головой вперед и пролетела через пылающие круги, шурша своими лентами.

Потом, когда обручи погасли, она в один прыжок очутилась на голове мужчины, и образовавшеюся таким образом колонной, покачиваясь в такт музыке, оба вышли, сопровождаемые хлопками.

Наступила немного чересчур длинная пауза. Марий выбежал и узнал, что танцовщицы, приглашенные в другое место, не могут явиться. Желая спасти положение, он, призвав на помощь Тимона, подошел к сидевшей одиноко Марии и стал ее в чем-то горячо убеждать; Магдалина долго трясла головой, потом, наконец, сказала:

– Хорошо.

Тогда Марий с трудом успокоил поднявшийся шум и торжественно объявил:

– Мария Магдалина согласилась протанцевать!

– Эвоэ! – раздались торжественные клики.

Мария встала, улыбнулась и, провожаемая всеми взглядами, вышла, чтобы переодеться или, вернее, раздеться.

Тем временем Тимон, который любил Магдалину восторженной любовью преклоняющегося перед красотой художника, выступил на середину зала и, побрякивая струнами кифары, пропел в честь ее короткую эвкомию, или хвалебный гимн:

*«Раем благоухает и сверкает луг красоты Магдалины – пусть же пасутся на нем очи людей, прежде чем белая осени пряжа затянет ее и выкосит время.*

*Будемте веселы, прежде чем все мы увянем, ибо короток жизни луч светлый, а долгая скорбная ночь ждет нас за Стиксом и Ахероном, за Летой – забвенье. Давайте ж потратим все, пока время, кроме последнего обола – платы за лодку Харону.*

*Уста ее злы и упоительны, как вино из Самоса, сладки, как мед с горы Гимета; тело гладко и пламенно кровью, как зажженное масло; руки белы и гибки, как плющ, обвивают мужей, погружая их в сон и страстью связуя.*

*Словно четвертая Харис, она – воплощенье красы, обаянья, веселья и счастья, она образец красоты, любимица муз, и богов Олимпа достоин тот пир, когда она пляшет».*

Он оборвал, потому что зазвенели лютни и гусли, зазвучали тамбурины, застучали кастаньеты, и по сцене пронеслась точно целая буря красок.

Это вбежала Мария в прозрачных развевающихся покрывалах, сквозь которые просвечивали ее дивные формы, выглядывали, словно сквозь синий туман, точно из-за алых, озаренных солнцем облаков, скрывались точно в лазурь пенящихся вод, играли кругами цветистой радуги.

Точно вспышки огня развевались в пляске еле связанные кудри ее волос, обтекали ее струями кипящей смолы, рассыпались снопами искр, опоясывали ее точно янтарное ожерелье.

Вверху, точно белые мотыльки, трепетали белоснежные ладони ее согнутых дугою рук, сияло розовое лицо и искрящиеся, как звезды, синие глаза.

Внизу мелькали босые ноги, подымавшие ее ввысь, точно легкие крылья белых голубей.

Казалось, будто она танцует на одном месте, потому что ее танец состоял не в движениях ног, а в движениях всего тела – это были как бы сменяющиеся в одно мгновение одна другую позы, пластически изображающие путь любви.

Пугливым взмахом как бы защищающих рук, встревоженной защитной позой, завесой из опущенных ресниц она передала первый, сладостный, трогательный момент девичьей застенчивости.

Потом она томно закрыла глаза, лениво потянулась, перегибаясь в бедрах, раскрыла, точно после поцелуя, алые, как кровь, лепестки губ и, расправляя руками прозрачные покровы, стала танцевать медленно, потом быстрее, задорнее, и потом совсем быстро до головокружения, до беспамятства.

Охваченная страстью и порывом, она, казалось, горела в бушующем море своих огненных волос, растворяла свою красоту в радуге развевающихся покрывал. Вдруг она взлетела вверх и минуту точно парила разноцветными крыльями в воздухе – коснулась пола, и стали утихать и замедляться ее движения.

Опадали одна за другой ткани, нежно и легко облежавшие ее пышные формы. Она остановилась и испустила вздох. Широко открыла закрытые прежде глаза и провела по залу смелым, властным, царственным взглядом, как сознавшая уже свою красоту, свое обаяние и силу женщина.

Ее искрящиеся глаза, пунцовые, налитые уста и, точно высвобождающаяся из облаков, ее страстная фигура выражали жгучую жажду наслаждения.

И вдруг быстрым, решительным движением она отбросила первое, красное, покрывало, и, в то время как оно медленно расстиралось по полу, она обернулась, поворачивая к застывшим в немом оцепенении зрителям обнаженные плечи, руки и вздымаемые быстрым движением, смотрящие в стороны груди. Скрестив свои белые руки, она сблизила обе груди и стала баюкать их, словно розовые пухлые тела двух целующихся амуров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.